

К Н Леонтьев

**Моя литературная судьба
(Автобиография Константина
Леонтьева)**

Леонтьев К Н

**Моя литературная судьба
(Автобиография Константина
Леонтьева)**

К.Н.Леонтьев

Моя литературная судьба
Автобиография Константина Леонтьева
МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА[1]
Автобиография Константина Леонтьева
Ars Longua, Vita Brevis!

Приезд в Москву и поступление в Угрешскую обитель* Посвящается друзьям и поручается С.П. Хитровой 1874-1875 гг.

I

Из Калуги по окончании всех дел по имению мы с Георгием в Ечкинском тарантасе доехали до Ивановской станции, оттуда по железной дороге до Москвы. Сначала я занял порядочный номер в Лоскутной гостинице Мамонтова. Первое мое посещение было опять Иверской Божьей Матери. Я просил (конечно!) о продлении моей земной жизни и о том, чтобы в делах литературных мне суждено было наконец узреть правду себе на земле живых. Я надеялся и не унывал, но до сих пор, как оказалось, напрасно. Мне опять пришлось видеть искреннее сочувствие и слышать самые лестные похвалы от одних людей и самую странную несправедливость, самое

убийственное равнодушие от других, именно от тех, кто мог что-нибудь сделать. Со мной была первая и совсем исправленная часть книги "Византизм и славянство", которую я собирался отдать на прочтение Погодину и другим славянофилам. Были еще с весны взятые мной у княгини Лины Матвеевны Голицыной рекомендательные письма к княг. Трубецкой и кн. Черкасскому. Еще были у меня отрывки из второй части Византизма, которая еще неисправленная лежала у Каткова, и начало второй части Одиссея, которую я почти насильно принуждал себя писать, гостя в августе в Оптиной Пустыни. Такой обширный, объективный труд требовал большого досуга воображению; нужно в таком произведении, чтобы оно вышло недурно, обдумывать беспрестанно все, даже самые внешние обстоятельства, иногда и вовсе придумывать их, сообразуясь с местностью и другими возможностями. Героя я выбрал неудобного: красивого и умного юношу, загорского купеческого сына, но боязливого, осторожного, часто хитрого, в одно и то же время и расчетливого, и поэта, как многие греки. Все изображается

тут нерусское: надо большими усилиями во-
ображения и мысли переноситься в душу та-
кого юноши, становить себя беспрестанно на
его место, на котором я никогда не был. Рус-
ские люди являются тут уже совсем объектив-
но: в числе других лиц разных наций и вер.
Не надо чрезмерной идеализацией русских
внушать к себе недоверие; а вместе с тем са-
мая правда жизни, сам реализм (хорошо по-
нятый) требует давным-давно (с самых вре-
мен Онегина и Печорина) возврата к лицам
более изящным или более героическим. Сам
Тургенев насилу-насилу доработался до
Лаврецкого и до блестящего отца в "Первой
любви". Гр. Л. Толстой насилу-насилу решил-
ся создать Андрея Болконского. До того всех
опутала тина отрицания и гоголевщина
внешнего приема. К тому же разнообразных
лиц -- турок, греков, европейцев в Одиссее
много. Понятно, сколько умственной свобо-
ды, сколько досуга воображения надо, напри-
мер, чтобы, с одной стороны, сократить до
размера других лиц консула Благова, который
как бы составлен из Ионина, Хитрова и, разу-
меется, меня самого, а с другой, расширить и

отделить друг от друга мусульман, действующих в романе. Мы так мало знакомы с мусульманами, нам так трудно узнать живые черты их домашнего быта, их всех так легко можно сделать на одно лицо, что изображение их требует несравненно большего внимания, чем изображение греков, которые хотя весьма несхожи с нами психологически, но имеют с нами так много общего в историческом воспитании, в религиозных ощущениях и т. д.

А молодого русского консула -- светского человека и художника по натуре, которого многие любят в книге и которого я сам люблю -- изобразить трудно по противоположной причине: слишком легко впасть в безличную идеализацию своих собственных хороших чувств, приятных воспоминаний и даже некоторых из тех хороших свойств, которые автор знал и сознавал в самом себе. Я вовсе не хочу нападать на несколько безличную и возвышенно бледную идеализацию; напротив того, она, пожалуй, и есть художественный идеал мой, по естественной реакции против гадкой и грубо осязательной мелочности, в

которую впадает большинство лучших писателей нашего времени (особенно англичане и русские, французы теперь лучше). Но... Мадонна, почти иконописно идеализированная хоть бы кистью Ingres'a, была бы вовсе не на месте на хорошей реалистической картине Ге. Ее надо изобразить особо, на другом полотне. Вот это все надо обдумать, обсудить, схватить и поскорее написать... Надо, чтобы роман был бы хоть сносен в моих собственных глазах, прежде всего ("Ты сам свой высший суд"). Больше я от Одиссея и не требую; это не "Генерал Матвеев", которого я обожаю и которого хотел бы довести до высшей степени совершенства. Одиссей вовсе не любимый сын мой; я вижу в его манере очень много обыкновенного, но я хочу, чтобы и он держал себя в обществе, по крайней мере, прилично. Нельзя чтобы мой сын был просто слит из газетных известий и т. п., как антипольские романы Крестовского, или подслуживался бы только Катковской умеренной морализации, как напрасно и неудачно поднятый "Вопрос" т. Маркевича (я говорю так потому, что именно те лица, которые Маркевич хотел более

осудить -- мать и гвардеец, вышли милее и понятнее других, особенно этого уroda-сына. Вот почему я говорю, что мне Одиссея кончать трудно. Надо много мыслить, а я утомлен нестерпимо и мне хочется только думать. А если уже мыслить, то над чем-нибудь более решительным, над "Прогрессом и развитием" и т. п., а не над жизнью маленького Эпира, сколько бы в ней ни было грации и оригинальности. Итак, я в Оптиной едва-едва мог написать две главы, как неотложные по имени дела уже вызвали меня в Калугу.

В гадкой редакции на Страстном бульваре что-то переделывали, и Катков в это время (в конце сентября? в начале октября?) был в своем Михайловском дворце. В редакции секретари мне сказали, что вторую часть "Византизма" он взял с собой и читает ее.

Я был в этом дворце еще летом, и горбатый Леонтьев угощал меня там под вечер плохим и слабым чаем.

У меня сердце (художественное сердце) разрывается, когда я смотрю на это жилище, заселенное теперь Катковым и Леонтьевым! (Хотя последнего я и люблю до известной сте-

пени.)

Я не знаток декоративной археологии и никак не могу вспомнить, в каком старинном вкусе отделан этот маленький дворец (или скорее прекрасный барский дом) во вкусе реставрации, госо или Romradour -- не знаю. Но знаю, что глаз отдыхает на этих гостиных с расписными потолками, со свежей изящной мебелью не нынешнего фасона, с мраморными столами, яшмовыми вазами и т. п. Кажется есть и штоф на стенах. Здесь бы Хитровым принимать гостей; ибо одно дело их недостатки, их пороки даже, и другое дело их декоративность. Породистая, дорогая собака кусается иногда; можно прятаться от нее, можно ее прибить, убить, толкнуть (как иногда и я старался бывать и толкать словами Хитровых, когда они уж очень бывали злы или невежливы в своей изящной *prepotence*), но нельзя же сказать, что собака неумна, некрасива, не декоративна оттого, что она меня укусила. А если приручить ее (как мне удалось под конец моей жизни в Царьграде приручить немного Хитровых, то лаской, то дракой, то терпением), -- то воспоминание остается очень хо-

рошее. Я как увидал летом этот дом, снаружи пошлый, но внутри очаровательный, так мне сейчас же пришли на ум все эти гостинные Rambouillet, Dudeffand, M. Recamier, Stael и т. д., в которых встречались военный и дипломатический гений, литературный дар, поэзия и мысль, остроумие и облагороженные страсти. Я подумал, кого бы я желал здесь видеть?.. И не нашел никого удобнее для этой цели Софии Петровны Хитровой... Пусть бы она в этом доме являлась: то в своей длинной белой блузе с розовыми и палевыми бантами, которую она надевает будто бы от усталости, или в том темно-лиловом платье и свежих розах, в которых она ездила со мной в Ишатьевскую больницу...

Пусть бы она тут играла с Ветой, пусть бы рисовала (стараясь только нижнюю часть лиц не так укорачивать), пусть бы читала стихи Толстого, пусть бы говорила дерзости; то выгоняла бы доброго Зыбина Бог знает за что? за то только, что он водевильный *jeune-premier*; слушала бы мое чтение по вечерам, восхищалась бы моим умом... Чтобы Цертелев был тут, чтобы мадам Ону сверкала умом

(но только, чтобы она не говорила с хозяйкой дома о воспитании детей!), чтобы Губастов лукаво молчал на кресле...

Пусть бы непреклонный юрист, ее муж, переводил бы здесь Гейне, показывал бы нам свой стан, выправленный и личною гордостью, и кавалерийской службой, свой профиль германского рыцаря, свой славянский дух (хотя бы и не всегда верно понятый), свой взгляд Cesar Bordjia, свою хладную закоснелую ярость на всех чем-нибудь высших и даже равных ему, свою снисходительность к Нико, Джою или Перипандопуло[2]... Пусть бы даже он и мне по-прежнему говорил 1000 неприятностей, вздора и неправды (притворяясь большею частью, что не понимает меня)... все это было бы кстати в таком изящном доме... И вдруг вместо монументального Хитрова здесь передо мною умный, благородный, но все-таки горбатый однофамилец мой... Вместо Софьи Петровны Хитровой, в которой соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхити-

тельное косноязычие и ясный, твердый ум... вместо всего этого... другая... и вообразите тоже Софья Петровна... Каткова. Впрочем и сам Катков с годами стал не только ужасно неприятен характером, по свидетельству даже всех служащих у него в редакции, но сверх того... я не знаю как сказать... как-то сер... Мне все кажется, что и с него и со всех его вещей в его кабинете надо долго сметать пыль. Впрочем, и направление его, чем дальше, тем скорее. Придется еще раз цитировать Хитрова, который сказал мне про него и Царьграде: "Помни, бграт, что и Катков сам вступил уже в период втогичного упрощения". Правда, может быть невольно сознавая это, он оттого и раздражен. Хорошо! Но что сказать об этой России, от которой мы все имели наивность ждать так много, если вспомним, что Катков и Русский Вестник просто заменить нечем... И не видать до сих пор ничего возникающего. О чем думают люди молодые, отказавшиеся от нигилизма -- представить себе нельзя... Или это центров нет, хоть есть и люди; или это пройдет? Но когда ж оно пройдет?.. А жизнь, видимо, пошлеет от прогресса... Вот и человек

свежий, молодой, которому еще все улыбается и везет пока, Цертелев и тот это говорит о Москве. Славянофилы говорили мне почти то же самое. Федор Николаевич Берг (Боев) говорил мне, что если бы Катков умер или Вестник закрыли, то печатать просто будет негде человеку со вкусом, или убеждениями (не либеральными, разумеется, ибо непонятно, чтобы человека со вкусом не тошнило бы от нынешнего развития либеральности). Либеральный нигилизм так развит в Петербурге, что им питаются несколько изданий (Вестник Европы, Отечественные Записки, Дело, кажется, Биржа, Петербургские Ведомости и т. д.). Вот и хваленая молодость России... Я, признаюсь, за последние годы совершенно разочаровался в моей отчизне и вижу, напротив, какую-то дряхлость ума и сердца... не столько в отдельных лицах, сколько в том, что зовут Россия. Чтобы она немного помолодела... боюсь сказать... что нужно... быть может, целый период внешних войн и кровопролитий вроде 30-летней войны или, по крайней мере, эпохи Наполеона 1-го. Надо приостановить надолго эту разъедающую, внутреннюю, практическую

лихорадку.

Довольно обо всем этом! Теперь опять о себе... Итак, после молитвы у Иверской, я поехал к Каткову в Михайловский дворец, на Остоженку. Это было воскресным днем; тотчас после поздней обедни, которую я отслушал в Кремле. Человек Каткова сказал, что и он, и Леонтьев -- оба еще в церкви в Коммерческом училище. Полагая, что они скоро вернуться, я пошел пока, но тотчас же на улице встретил Каткова. Он был окружен многочисленными дочерьми и вел за руку маленького сына в русской одежде. Меня это не особенно тронуло. Он увидал меня и улыбнулся мне своей натянутой улыбкой, в которой никогда я не видал ни добродушия, ни искренности, а всегда лишь одну притворную любезность. На дворе его сынок задержал нас несколько времени: он куда-то просился уйти с сестрами. Наконец Катков отпустил его. Мы пошли в кабинет (хороший, вероятно, потому, что они еще жили тут временно и не успели ничего испортить). Нам подали кофею и я объявил ему, что приехал в Москву с целью заниматься у него при журнале, если условимся. Я

сказал ему вот что: -- Не знаю, когда именно я поступлю в тот монастырь, о котором я говорил вам летом[3]. Я не могу даже ручаться, примут ли меня туда так, как я бы желал. Я бы предпочел лучше эту зиму всю прожить тут в Москве; только у меня нет денег, чтобы жить. Пенсия моя мала, и она назначается для других целей. Мне, чтобы жить одному в Москве, надо, по крайней мере, 250 рублей в месяц.

-- Вы нам много должны, -- сказал Катков, -- около 4000 р. Такую сумму, 250 руб., выдавать ежемесячно, как жалованье, нам неудобно. Это у нас не в обычае. Я настаивал, что иначе просто нельзя. Я доказывал и говорил ему долго. Он слушал внимательно и думал. Потом сказал:

-- Конечно, работа может быть разная. Вы можете заняться политическим отделом, не только по восточным делам, но и вообще. Иногда при редакции бывает вот что. Все материалы собраны, все готово; нужно только бойкое литературное перо, чтобы это все объединить, округлить... Вы обладаете вполне таким пером и для вас в редакции всегда най-

дется работа.

Так рек Михаил Никифорович, московский публичный мужчина, по выражению Герцена, которого он за это и ненавидит до самой возмутительной несправедливости. Чтобы не упрекать себя после за какое-нибудь практическое упущение или недогадливость, я на всякий случай поговорил с ним еще и о возможности возвратиться на службу, напр., хоть при Московском Архиве Иностр. Дел, или получить то место в 3000 рублей (в Синодальной типографии), о котором мне в Калуге, как о вакантном, говорила одна моя знакомая К.Н. Д-ва. Я говорил, что боюсь только потерять после пенсию, ибо служить долго все-таки не хочу, а лишь столько, сколько бы нужно для окончания некоторых дел. (Конечно, прежде всего литературных: я ужасно боялся, что в монастыре мне решительно запретят писать повести, а у меня до сих пор столько самых грациозных сюжетов из восточной и много оригинального в памяти из русской жизни. Эта боязнь утратить право на последнюю земную отраду моей жизни больше всего боролась во мне с жаждой удалиться в оби-

тель.)

Говоря Каткову о возможности возвратиться на службу, я имел в виду две цели: одна была та, что он мог помочь мне легко в приискании места; П.М. Леонтьев, сообщали мне, почти друг с обер-прокурором Синода Толстым, а место в Синодальной типографии зависит от обер-прокурора. А другое побуждение было вот какое: мне бы очень неприятно было, если бы Катков и Леонтьев сочли бы меня одним из тех несчастливых идеалистов и бестактных людей, которые ссорятся с начальством, теряют хорошие должности, из-за пустяков бросают службу и т. п. Мне самому такие люди противны и жалки не в хорошем смысле, а в худом, особенно когда они имеют какие-то воображаемые убеждения... И я никогда бы не променял своей службы на поденное писательство, если бы не клятва пойти в монахи. То поденное писательство, на которое я теперь почти решался, я считал лишь горькой и временной, унижительной необходимостью. Я не хотел, говорю, чтобы эти люди думали, что я поссорился с министерством или что меня удалили за ошибки и неправ-

тичность. У меня, я знаю сам, такой вид, что как раз, не зная меня коротко, можно эту гадость подумать. Даже Ону, который давно меня знал, говорил мне своим билатеральным голосом (я впрсчем в нем этот голос, по личному уже к нему некоторому пристрастию, очень люблю): *Je m'e-tonne, mon cher, comment vous, un homme de tout d'imagination, comment faisiez-vous pour etre un consul tres modere et tres pratique... Et vos ecrits politiques sent aussi excessivement positifs... Voyez-vous je suis un homme pratique...[4]* и т. д. На это я ему отвечал смеясь: *"C'est fort simple... Cela vient de ce que je suis tres bien doue et de ce que j'ai en moi toute une masse de ressources varies"[5]*. Но другое дело мой милый Ону и другое дело московский "публичный мужчина", с которым я желал бы всегда иметь лишь одни коммерческие отношения. Я может быть и ошибаюсь, но мне показалось, что он в 69-ом году, когда я приезжал в Москву на четыре дня консулом, был как будто внимательнее и любезнее со мной. По всему этому мне хотелось, чтобы он не считал меня вполне от себя зависимым и себе слишком обязанным и чтобы думал,

что я и с нашим министерством остался в хороших отношениях.

Он похвалил эту мысль служить в Москве и сказал, что занятиям у него это, конечно, мешать не будет.

Он назначил мне через несколько дней свидание в грязной своей редакции, и мы расстались. В большой гостиной я увидел с кем-то посторонним моего горбатого однофамильца. Он почти вскочил и подошел ко мне с большим *embressement* и с улыбкой всегда гораздо более живой и искренней, чем гадкая улыбка его знаменитого коллеги. Я поздравил его с недавним спасением (от револьвера Каткова-брата) и он, по-видимому, принял это хорошо. Он мне нравится давно, уже гораздо больше Мих. Н-ча.

Я уехал с Остоженки и еще раз мысленно и в теории изгнал их всех: *Mad. Katkow en bete* из прекрасного жилища и снова населил его Хитровыми, Игнатьевыми, Ону, Нелидовыми, Мурузи (вопреки Цертелеву и Зыбину) и т. д. Все эти люди могут иметь свои недостатки и несовершенства, но это живое общество, а не ученое, скучное хамство... Эти люди, с кото-

рыми дышится легко даже и в минуту распрей. Теперь я с радостью оставляю редакцию и поговорю немного о других моих встречах в Москве. Иные из них гораздо лучше и занимательнее редакционных дел. Редакции -это кухни, или еще хуже -- клоаки, ватерклозеты литературы. Что делать! теперь без них и поэзия невозможна. Я говорю -- теперь, ибо были же счастливые времена, когда столько великого и столько изящного люди создавали и распространяли без помощи ватерклозетов. Прощаясь, хотя к несчастью и не надолго с Катковым, я замечу мимоходом, что у других редакторов еще обстановка, по крайней мере, лучше. Напр., редакцию Голоса можно назвать отхожим местом морально, ибо здесь царствует демократическое зловоние самого лукавого и подлого оттенка; но, по крайней мере, у Краевского в доме хорошо, на банкирский буржуазный манер, на средне-петербургский, но все свежо, очень чисто, просторно и не без вкуса; и сам Краевский, когда я его видел в 60-х годах, производил какое-то скорей приятное и веселое впечатление неглупого и ловкого вивера. А у Каткова, как я уже го-

ворил, все ужасно серо, криво, косо, грязно и противно... II

Здесь должна следовать глава о других встречах моих в Москве. Эти встречи были, может быть, важны для жизни сердца моего и в смысле воспоминания о прошлом моем (например, встречи мои с несколькими прежними крепостными нашими, которые все были чрезвычайно рады меня видеть), но я пока оставлю это и хочу заняться лишь теми людьми, которые прямо были связаны с литературной моей деятельностью, и теми обстоятельствами, которые меня привели в монастырь скорее, чем я хотел и ожидал.

III Около этого же времени в редакции Каткова я встретил Федора Николаевича Берга (того, который пишет теперь под именем Боева). Я его прежде в лицо не знал, хотя в 60-х годах мы оба были долго вместе в Петербурге[6]. Литературно я больше всего познакомился с ним по его Путешествию в "Заре". Я помню, мне там многое понравилось; во-первых то, что он вовсе не всем восхищается в нынешней Европе и, видимо, предпочитает остатки старой; вовсе не все ему кажется там

комфортабельным и, наконец, он даже паспорта русские хвалит; а я тоже рад и паспортам и всему тому, что хоть чем-нибудь отделяет нас от современной Европы, хотя бы это что-нибудь и само было западного источника. Что касается до мнения Берга обо мне как о писателе, то он принадлежит к числу тех рассеянных по лицу земли моих почитателей, которых, как я с каждым днем убеждаюсь, во все не мало, хотя мне от этого и ничуть не легче в литературном отношении.

В 69-м (кажется) году Берг, встретивши мою племянницу Машу у Кашпиревых на вечере в Петербурге, сказал ей, что он в восторге от статьи моей Грамотность и Народность ("Заря"), называл эту статью "высокохудожественной" и собирался даже, не будучи знаком со мной, писать ко мне и благодарить меня за нее. В первые же недели моего приезда в Москву мы познакомились в редакции. Катков перебрался уже на свою ужасную лестницу в университетской типографии. Я пришел раз туда и увидел, что какой-то высокий молодцеватый мужчина средних лет, свежий, белокурый, немного немецкой физиономии,

говорит с Катковым. Потом ко мне подошел кто-то и сказал: "Ф.Н. Берг просит меня познакомиться его с Вами". Мы поговорили; потом он зашел ко мне, и мы после двух посещений стали как свои люди. Он приехал в Москву по делам на время: он долго прожил в каких-то лесах Олонецкой, Архангельской или Вологодской губерн.; там, говорил он, у него лесопильный завод. Он уехал, по-видимому, туда в 60-х годах, именно около того времени, должно быть, когда все, что любило изящное и поэзию и не успело составить себе положения прежде, бросило в отчаянии искусство, эстетику, бежало из России, умирало, шло в Польшу и т. п., это было то время, когда я, промучившись с полтора года в Петербурге, уехал в Турцию, когда Аполлон Григорьев совсем спился с горя и в самом Петербурге пропал долго без вести, когда Вс. Крестовский поступил в юнкера, скульптор Шредер разбил свои глиняные *chef d'oeuvres* и бежал в Бразилию и т. д.

Берг сказал мне, что все мои сочинения у него собраны и переплетены особо. Он сказал мне также, что Вс. Крестовский, друг его, в

"Русском Вестнике": прежде всего, ищет моих повестей. Говорил много и другого в таком же духе. Он уговорил меня оставить гостиницу Мамонтова и перейти на Тверскую в новую и небогатую гостиницу "Мир", которую держит очень добрая француженка мадам Шеврие. "Это будет, -- говорил он, -- гораздо дешевле и лучше потому, что с ней можно лично сойтись и видеть от нее всякие уступки и внимание". Я ему за это до сих пор очень признателен. Правда, что в тяжелом моем положении мадам Шеврие оказалась мне не раз почти другом и чуть не благодетельницей. Как только я перешел к ней и условился с ней ежемесячно, так мне стало полегче на сердце, и я, не откладывая больше, хотел приняться за работу ежемесячно для Русского Вестника или Ведомостей.

Редакцию Каткова понять не легко. Редактором Вестника, напр., считался профессор физики Любимов, главным распорядителем по Ведомостям -- некто Воскобойников. А между тем Любимов, кажется, ничего не значит, на Каткова влияния имеет мало и точно всех и всего боится. Когда мне приходилось

говорить с ним о наших делах и счетах, он все жался, кидался куда-то, стыдился, не кончал фраз или кончал их испуганным топотом каким-то и ни минуты не держал головы покойно, а избегая встречи глаз, все вертел шею туда-сюда. Маленький, серый, бледный, гладко выбритый, испуганный, он со своими дюжинными речами может служить образчиком этой современной умеренно-прогрессивной, умеренно-либеральной дряблости, мелкой учености и жалкого бесцветно-профессорского джентльменства новейшего времени, которого я терпеть не могу за его бесхарактерность. Кривой, старый хохол и хитрый кутейник Бодянский, который живет как часы или как Кант, мне гораздо больше нравится.

Что касается до Воскобойникова, то он не так боязлив, по-видимому, как Любимов, но сказать, что он такое со своими Усами -- еще труднее. Так, что-то такое нынешнее, скучное.

Я слышал, что он хороший исполнитель у Каткова, но сам ровно ничего не значит. Катков сказал мне, что определенного жалования ежемесячно давать нельзя, ибо нельзя знать, какая будет нужна работа. "А работа

для Вас всегда найдется у нас,

-- сказал он еще раз. -- Можно будет политику Вам поручить". Он сказал мне, чтобы я поговорил с Воскобойниковым, не найдет ли он мне дела в газете. Легко сказать у них: "поговорите с тем-то", но где и когда? Все они до того спешат, до того озабочены, что только добиваться встречи и разговора, и то уже какая-то унижительная мука для человека, непривычного к суетам и нытью литературного пролетариата.

Я раза два-три просиживал в редакции по несколько часов; работы мне никто никакой не предлагал; я думал, что у них будет так же, как у нас в министерстве или в посольстве. Пришел человек 1-й, 2-й раз на службу; сейчас ему дают работу и он спокоен, и дело идет. Он скоро может представить доказательства своей аккуратности, прилежания, ума. Но я напрасно ждал неделю, напрасно просиживал в редакции, теряя время, дорогое мне для романов и больших статей, целые утра. Все секретари и мелкие сотрудники, корректоры, ломовые чтецы иностранных газет, разные художественные фигуры, молча

что-то умеренно-прогрессивное мыслящие в углах, знали свое дело, а я все не узнавал и никто мне его не указывал. Скучный Воскобойников с усами, у которого я наконец имел счастье просидеть около часа в кабинете, сказал мне так: "Трудно теперь найти такое занятие, которое давало бы рублей 200 в месяц. Но прежде всего советую Вам иметь инициативу, тот из сотрудников, кто сам задумал написать что-нибудь для газеты или журнала, не обратится к Вам, а предложит Каткову свои собственные услуги". Я задумался немного и сказал ему: "Не написать ли что-нибудь по поводу "Складчины", которая была издана в пользу самарцев. Хотя это и не новость, но я только недавно прочел ее и меня поразило в этой книге вот что: все, что в ней история, воспоминание, правда, то представляет русскую жизнь скорей в хорошем виде, чем в дурном. Все, что в ней вымысел, творчество носит отрицательный, грубый, насмешливый или плоский характер. Это замечание я сделал уже давно; я уже давно говорю, что если французская литература ищет всегда возвысить тон и краски изображаемой жизни, то

русская, напротив, никак не может даже и до реальной жизни дорасти. Сначала Гоголь приемами, а революционеры позднее и настроением точно будто атрофировали, заморозили нас, подстригли нам крылья, и в этой книге "Складчина" из очерков и повестей только и есть две неотрицательных; Кохановской -- Кроха словесного хлеба и Тургенева -- Живые мощи. Да и то "Живые мощи" очень грустны. Это вопрос очень интересный и капитальный; в такой статье можно коснуться кратко всей нашей литературы за последние 20--30 лет. Не надо называть статьи "О Складчине", а по поводу книги "Складчина" Воскобойников сказал: "Это правда, что в этом смысле много можно интересного сказать. Но эта статья будет велика, ее надо в Вестник, а в дела Вестника я не мешаюсь. Там г. Любимов; поговорите с ним; я не имею там влияния. Он другое дело, он профессор, генерал, действительный статский советник. Поговорите с ним". Кончился Воскобойников.

Опять Любимов. Надо было дня два-три бегать по Москве искать его. Все это еще в первые две-три недели после моего приезда; где

ж мне было примениться к тому, когда и где всех этих людей застать.

Наконец, просидевши часа три в лицее П.М. Леонтьева, я там уловил эту ускользящую серую штучку -- Любимова. Он всегда очень любезен, впрочем; сел со мной в сторонке, и когда я сказал ему о "Складчине", он одобрил и отвечал: "Одиссей ваш, я думаю, скоро будет набираться; я полагаю, что можно будет пустить его в следующей книжке (в ноябре), и когда будет к сроку и эта статья готова, то кажется, что можно и ее в той же книжке напечатать... Тем более что вы подписываетесь под статьями Константинов. Вот как будто два лица!" Я успокоился, и хотя денег у меня оставалось уже очень немного, но я надеялся, что можно будет сделать так, чтобы новые мелкие работы шли на прожиток, а Одиссей, Болгарский вопрос, Матвеев (если мы, наконец, сойдемся в этом с редакцией) -- служили бы на погашение долга в 4000 рублей, который накопился за два года мои в Царьграде, благодаря неаккуратности редакции в ответах на мои письма и телеграммы, благодаря моему увлечению восточной полити-

кой и моей любви к церкви.

На другой день я заплатил 3 рубля за "Складчину" и сел писать. IV

До сих пор я говорил все об отношениях моих к Каткову и Леонтьеву. Но я знакомился и имел дело в то же время и со многими другими лицами. С Погодиным, И. Аксаковым, кн. Черкасским, Самариным, В.С. Неклюдовым, позднее с Бодянским и княг. Трубецкой, к которой у меня было письмо от кн. А.М. Голицыной. Любопытно вот что: у Каткова я был какой-то пролетарий, труженик, подчиненный, должник неоплатный, ищущий еще денег, человек, бывающий только по делу. У других я был гость, консул на Востоке, у Погодина даже замечательный человек, почти авторитет по делам Востока.

Когда я виделся летом с Погодиным, мне достаточно было сказать ему: "Я писал также статьи о панславизме под именем Константинова", чтобы он оживился и воскликнул: "Так вы бы сразу и сказали! Помилуйте, я старик больной, умирать каждый день собираюсь. Время сочтено. Но теперь, когда я знаю, кто вы именно, я готов с вами сколько угодно си-

дети".

Вскоре после приезда моего в Москву я поехал к нему на Девичье Поле. Он принял меня опять очень внимательно и попросил меня изложить вкратце, но не спеша, мою теорию вторичного упрощения. Я заметил ему на это вот что: "Вы, кажется, были всегда против аристократии и привилегий, а у меня, даже вовсе неожиданно для меня самого, вышло заключение в пользу аристократии и привилегий". Он сказал, что научные взгляды меняются и что он мог и ошибаться. Я начал ему излагать свою систему. Пришлось, беспрестанно удерживая себя от увлечений и подробностей, говорить подряд, я думаю, час, если не более. Бот тут я увидал, что значит долгая привычка ко вниманию и умственному труду. Этот больной старец во все время не сводил с меня глаз, не перебивая, не шевелясь и все слушая. Глаза его не выражали ни малейшего утомления; они были светлы и внимательны.

Сколько бы из моих очень умных и молодых друзей и приятельниц стали бы невнимательны, или зевнули бы не от скуки непре-

менно, а от телесного утомления, или начали бы перебивать, сбивать и спорить, не постигши еще хорошо сущность мысли.

Впрочем тут много значит еще и то, кто говорит. Когда говорит человек с авторитетом, человек уже известный, его слушают и самобытные люди внимательно, хотя после могут и бранить его.

Свой брат, товарищ, приятель -- не то! А для самих авторитетов, для людей, имеющих имя в науке и литературе, свежий, новый человек иногда гораздо дороже тех стародавних знакомцев общего дела, друзей и противников, с которыми они знают и видятся, может быть, уже десятки лет сряду. Когда я кончил так, чтобы стало ясно, я спросил у Погодина, что же он думает о моей исторической гипотезе. Он отвечал, опуская голову и пожимая плечами: "Что вам сказать! Я так подавлен обилием и разнообразием ваших мыслей, что не нахожу вдруг вам и ответа". Потом он начал говорить о том, о чем говорил еще летом, о том, чтобы сделать меня редактором славянофильского журнала и написал тут же И. Аксакову записку, в которой рекомендовал

меня и дал мне ее прочесть. Насколько помню, в ней было сказано так: "Это человек примечательный: он мог бы, я думаю, стать редактором славянофильского журнала; но мне кажется, его необходимо придерживать за полу". Я посмеялся, поблагодарил его и поехал к Аксакову. Прибавлю еще вот что. Погодин говорил мне о состоянии нынешней литературы; жаловался на то, что чем дальше, тем хуже. Говорил, что цензура совсем не то преследует, что вредно и опасно для общего духа и хода дел, а то, что не нравится некоторым лицам; рассказывал, что Ив. Аксаков -- человек забитый этой цензурой, что он иногда запирается и плачет. А нигилистам, если только они осторожны, житье.

Он жаловался также на классическое воспитание Каткова и Леонтьева, в том смысле, что древним языкам дано уже слишком много часов; что русский ум не немецкий; он может в один час сделать много, а если долго держать его над чем-нибудь, то он утомляется, а немецкий ум выдерживает дольше и т. д. Молодые люди, утомляясь, бросают и идут в нигилисты, так что мера эта, направленная

противу нигилизма, к несчастью, способствует ему. Он прибавил еще: "Катков и Леонтьев, благодаря своим успехам, сочли себя непогрешимыми; это маленькие Папы. Но все таки... их журнал пока остается прибежищем, и я сам печатаю иногда у них и прямо говорю им: я оттого отдаю вам, что нынче негде печатать".

Каково состояние российской словесности? И не прав ли я был, говоря, что это все пошлость прогресса и либеральности.

Посмотрим, что скажет Аксаков, "этот пострелец", по прозвищу Герцена. Оказалось, к несчастью, что он гораздо меньше поп, чем я... Надо заметить, что он меня не знал, но я его знал давно. Я его знал, во-первых, в Калуге, когда он в 40-х годах, во времена губернатора Смирнова (мужа знаменитой Россет) служил там в Уголовной Палате. Он нанимал флигель в доме родных моих Унковских и бывал у них часто. Я тогда был гимназистом, но уже интересовался литературой и смотрел на него с большим почтением, хотя ничего не прочел из его сочинений. Потом мы случайно встретились в Крыму в Тамаке, имении Иосифа

фа Николаевича Шатилова, и провели вместе там три дня. Аксаков был ополченцем, а я военным врачом; он участвовал тогда в комиссии Васильчикова для исследований всех злоупотреблений, совершившихся во время кампании, и рассказывал много интересного. Гимназистом он меня не помнит, но наша встреча в Крыму пришла ему на память.

Я имел мало времени и хотел скорее дать прочесть кому-нибудь из славянофилов 1-ю часть моей книги "Византизм и славянство".

Поэтому я приехал к Аксакову в 5 часов, во время самого обеда. Когда слуга сказал, что кушают, я велел все-таки доложить и прибавил, что мне лучше в прихожей просидеть полчаса, чем 20 раз приезжать. Аксаков вышел сам, не совсем, конечно, довольный и вежливым жестом, в котором дрогнуло, впрочем, весьма понятное раздражение, указал мне на дверь кабинета и просил посидеть там, пока он кончит обед.

Я сел в кабинете, закурил папиросу и ждал его долго. Наконец он пришел и, не говоря ни слова, начал искать на столе сигару. Я, тоже продолжая курить, сказал ему так:

"Мне надо извинить, если я приехал не во время. Во-первых, я спешу, а во-вторых, я прожил в Турции 10 лет, а в Москве жил около 20-ти тому назад: я не знаю, в какое время здесь кто обедает.

-- Обыкновенно здесь обедают в 5 часов, -- отвечал Аксаков.

-- Да, в известном кругу, может быть, -- сказал я, -- а у меня есть дела с людьми разного рода и еще 20 лет тому назад люди одного и того же общества обедали кто в три, кто в четыре, кто в пять часов.

Аксаков сел около меня на диване и довольно благосклонно и внимательно спросил, в каких городах я был консулом? Потом спросил еще: "Ведь это вы печатали повести из восточной жизни?" Я сказал "да" и еще я напечатал у Каткова 2 статьи о панславизме, под именем Константинова".

Его как будто что-то кольнуло, он подался вперед и с живейшим участием воскликнул: "Ах! это вы Константинов!!" После этого любезность его удвоилась и приняла даже тот чуть заметный оттенок почтения или уважительности, который Умеют придать, не роняя

себя и возвышая собеседника своим словом и приемом, порядочные и светские люди, когда хотят доставить ему удовольствие или когда повинуются сами невольному чувству. Я постарался передать в точности наш разговор для того, чтобы видели люди, кто из нас прав и кто виноват в том, что мы впоследствии не сошлись. Я начал с того, что сказал ему прямо так:

— Я вышел в отставку вовсе не по разладу с начальством; напротив того, я рискнул приехать сюда, потому что нет никакой возможности печатать и издавать в России что-нибудь за глаза. Конечно, можно сказать, что я поступил нерасчетливо, но и это решит только будущее. Найдутся, может быть, справедливые люди, которые поймут мое положение и поддержат меня.

Он очень заботливо расспросил меня о моих отношениях с Катковым, и я сказал ему, что по вине самой редакции я задолжал ей около 4000, что дело с ним имею поневоле, ибо другого журнала нереволюционного нет и т. д. и прибавил:

— Поймите, зависеть от Каткова вовсе мне

не по душе, потому что я его умеренному европеизму не сочувствую. Для меня Мордва милее Европы. Аксаков очень искренно и сочувственно засмеялся и сказал: "Еще бы! Я это понимаю!"

Я донес ему еще на Каткова, что еще в 69-ом году, когда я приезжал из Турции в отпуск, он, видимо, стараясь подчинить меня больше своему направлению, сказал: -Мне, признаюсь, претит одно это ваше славянофильство. Славянофильство -- какая-то гримаса, больше ничего. Пусть сама жизнь вырабатывает эти оригинальные формы, а прежде времени учить нас -- это доктринерство. Аксаков, с пренебрежением улыбаясь, слушал этот донос мой, который я излагал всласть, ибо терпеть не могу и западный прогресс и разжиженное англо-саксонство Вестника, и самый характер Мих. Н-ча, его фальшивую улыбку, его сухость, раздражительность, доходящую до грубости и т. д. Слово за словом я сказал Аксакову о книге моей "Византизм и славянство", просил его прочесть ее в рукописи и, если можно, найти возможность напечатать ее. Таким образом мы заговорили прямо о славя-

нах, о славянофильстве, о болгарском вопросе.

-- Вторая часть моей книги, -- сказал я, -- чисто практическая, она написана противу болгар, которые и нравственно и канонически не правы. Эту часть Катков напечатать не прочь с сокращениями. Но в книге есть другие отделения: "О психическом характере греков и югославян" и еще вот та система особая, о которой я не говорю потому, что вы сами прочтете и увидите. Он стал меня расспрашивать о болгарях, и я ему сказал, между прочим, вот что:

-- Многие у нас воображают себе болгар какими-то жертвами и только. Людьями невинными, патриархальными; но надо видеть самому вблизи этих болгарских вождей-буржуа... Какое-то противное соединение Собакевича с Гамбеттой. Я ему рассказал, что знал об этих богатых старшинах и вождях югославизма, о том, напр., как иные из них, обитающие на о. Халках, ездят каждый день по делам в Константинополь и на пароходах сидят все время в 1-м классе, а в ту минуту, когда идет человек собирать плату за места, умеют

почти всегда исчезать и оказываться в низшем классе, чтобы платить дешевле, тогда как и вся плата ничтожна.

Он много смеялся этому. Я описал ему также, как болгарский архонт Топчилешта, здоровый болгарский Собакевич, идет по улице с базара и несет сам под мышкой огромную связку лука, как этот скучный рябой Бурмов, корреспондент Каткова, покупает вишни и торгуется и как грек лавочник восклицает: "Плохи вишни! Да где ты видел такие! Сказано болгарская голова!" и блестящий корреспондент в высоком цилиндре поспешно уходит.

Я прибавил вот что: "Если бы Топчилешта был старик в восточной одежде, в шальварах и нес бы сам лук по улице, несмотря на свое богатство, то впечатление было бы совсем иное... Он внушал бы симпатии и уважение. А когда видишь эти нескладные, дурно сшитые сюртуки, когда слышишь все эти вычитанные из западных книг фразы о просвещении, о равенстве и свободе... то видишь перед собою вовсе не того почтенного славянского патриарха, которого желал бы видеть и

читать, а так какого-то обыкновенного буржуа, только грубее и глупее европейского". Аксаков слушал все это улыбаясь и одобрительно. Я чувствовал, что все, что я говорю, ему приятно. Мы долго говорили. Я сказал ему искренно о моих отношениях к Каткову то же, что говорил и Погодину, то есть, что печатать больше нигде и что иметь дело с Катковым очень тяжело, потому что надо во всем беспрестанно стесняться, когда пишешь не повесть, а статьи.

-- "Да! Я это понимаю, понимаю", -- сказал Аксаков с выражением особенно интимным и сочувственным в лице и голосе...

Я сказал ему еще кое-что о славянофильстве: мне хотелось проверить самого себя. Я так долго жил и мыслил в уединении турецких провинций, что почти все мои мысли о славянах, Европе и Востоке создались и созрели беспомощно и независимо; в книгах даже был недостаток, а беседы и споров с настоящими, признанными авторитетами того учения, к которому я себя причислял, совсем у меня не было. Я сказал ему вот что (именно то, что я говорю и в тех статьях моих, которые

находятся теперь ненапечатанными по разным рукам и в других еще неоконченных):

-- Я не раз думал и говорил друзьям и знакомым своим, что в славянофильстве не столько сами славяне важны, сколько то, что в них есть особенного славянского, отделяющего нас от Запада... И что славянофил истинный не славян во что бы то ни стало и во всех формах должен любить, а именно это особое культурно-славянское... Если только оно найдется или выработается... Вот в чем задача... А что же толку в славянстве ради славянства, политическая сила и больше ничего... И то еще вопрос -- будет ли сильно это всеславянство, если оно не будет оригинально, если у него не будет своих особых от Европы принципов...

-- Разумеется нет, -- сказал Аксаков... Я продолжал:

-- Я часто думал также, если бы Хомякова или Киреевских, или брата вашего поднять из гроба и спросить у них по совести, что лучше: слияние русских с югославянами и неизбежная при этом утрата последней культурной оригинальности, отделяющей нас от За-

пада, или союз, сближение, смешение даже с турками, тибетцами, индусами какими-нибудь, чтобы только создать что-нибудь свое особое, органическое под их воздействием, хотя бы косвенным, -- то все прежние славянофилы предпочли бы этих азиатцев -- славянам. Дело в своей культуре, а вовсе не в славянах. Опять выражение одобрения, опять: "ну, разумеется!", опять как бы радостное кивание головой.

Я прибавил еще: "К сожалению, я напрасно ищу чего-нибудь особенно славянского, сильно выраженного у славян. Я начинаю разочаровываться не в самом учении, а в славянской жизни, которая не хочет идти по этому пути... Аксаков: "Славянофилы надеются, что сближение всех славян между собою -- послужит к выработке этих особенностей".

Я: "А если это сближение с юго-западными славянами приведет нас к тому, что мы еще скорей сольемся с Западной Европой, тогда что?.." Аксаков: "Ну, тогда все пропало!"

Я обрадовался и успокоился; я увидел, что я верно понимал славянофилов и потому могу смело рассчитывать на всякую от них по-

мощь. Я прошу моих друзей внимательно перечитать этот разговор и сравнить потом, когда дело дойдет до практических приложений этих взглядов, мою прямооту и последовательность с лицемерием или непоследовательностью Аксакова.

Итак, на первый раз он был более чем любезен со мной; он пригласил меня бывать у него по четвергам вечером.

После того, в течение этого октября, в который решилось для меня столькое, мы виделись несколько раз. Дня через два после моего первого посещения Аксаков сам заехал ко мне, не

застал меня дома и оставил карточку с надписью, что четверги его начинаются с будущей недели.

Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из славянофилов прочел первую часть моего труда "Византизм и славянство", ту теоретическую часть о триедином процессе развития, которую отверг М.Н. Катков, отзываясь, что в таких вещах можно как раз договориться до чертиков[7]. Рукопись моя, черновая, как всегда была ужасно дурно написана, ибо я тру-

дился над нею через силу во время палящих Босфорских каникул и только живость моего чувства и нестерпимая буря накопившихся мыслей могли через силу бороться с гнетущим жаром южного лета. Старик Погодин был нездоров, глаза его и без того утомленные постоянной работой над собственными сочинениями, воспоминаниями и т. д. отказывались решительно разбирать мои иероглифы. Погодин, чтобы я верил ему, вынул из ящичка тетрадь мою и при мне бился-бился и не разобрал почти ни одного слова.

-- Вот видите, -- сказал он мне, -- пока доберешься до смысла другого слова, потеряешь всю нить мысли. Что делать, я стар -- мне 76 лет. Собираюсь в дальний путь... Своего труда бездна. Хочу привести все бумаги свои в порядок. Смерть может прийти невзначай. Отдайте прочесть это кому-нибудь помоложе; Аксакову, напр. Я ему напишу еще, если нужно. Ему напечатать негде, у него журнала нет, но если он не придумает для вас ничего лучшего, я напишу Бодянскому. Он напечатает у себя в Чтениях, только даром и даст вам для отдельной продажи 300 экземпляров. Можете

все-таки что-нибудь и деньгами приобрести. Верьте, что я с радостью все, что могу, сделаю для вас. Нам нужны такие люди, как Вы, умные, просвещенные, мыслящие и... (он приостановился) и благородные... А мысли ваши я уже довольно хорошо понял из вашего словесного изложения в тот раз. Я сделаю все, что в моих силах. Напишу еще Кошелеву, не хочет ли он дать деньги на журнал и сделать вас редактором. Если же вы не найдете места напечатать, отдайте мне рукопись... я прочту не торопясь, приберу в свой стол, сделаю свои замечания; если в мыслях ваших есть

правда, они не пропадут для людей. Найдут в моем столе по смерти моей. Энергичный старик исполнил все свои обещания и впоследствии (когда я уже был в монастыре) показывал мне ответ Кошелева, который отказался от этого плана потому, что с "нашей цензурой" и т. д. Он и так на Беседе потерял, говорят, около 30 000. Предложение Погодина заставило, я помню, меня задуматься. Не об редакторстве, ибо я дал себе слово не искать его и согласиться на него только при самых выгодных условиях денежных и нрав-

ственных (напр., чтобы сейчас же бы заплатили за меня братьям хоть по 1500 р. с. каждому и хоть половину моих турецких долгов, назначили бы мне 3000 годового содержания и дали бы полную свободу печатать, как хочу и что хочу!); нет, я задумался о том, так ли я близок к славянофилам, как мне казалось... или нет?.. Не ошибается ли Погодин, думая, что меня можно сблизить, напр., с Кошелевым, которого политические взгляды возмущали меня еще в Турции своей бесцветно-крикливой либеральностью. (Напр., "Что нам нужно?" в "Беседе". Пошло до нельзя!) Надо допустить что-нибудь одно: или что между известными московскими славянофилами есть значительная личная разница, не только в характерах, как бывает всегда, но и во мнениях; или, что предметы, о которых писали Аксаков и Хомяков, были большею частью таковы, что в них меньше выражалось то, что могло меня отталкивать от них, а у Кошелева по роду статей именно разрастались те черты, которые мне вовсе не сочувственны. Оказалось последнее; и я через несколько месяцев яснее понял, что и на почве государствен-

ной, чисто политической и даже (вот что неожиданнее!) на почве церковной я со слишком либеральными московскими славянофилами никогда не сойдуся. Ибо я убедился и узрел очами своими, что если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное серое, буржуазное либеральничание, ничем существенным от западного эгалитарного свободопоклонства не разнящееся. Но пока вначале я это только чуял на мгновение, не сознавая наглядно; взял у Погодина рукопись мою "Византизм и славянство" и отослал Аксакову. В первый же четверг я пошел к Аксакову нарочно пораньше немного, чтобы застать его еще одного. Я хотел иметь время выслушать его мнение о моем сочинении. Он прочел около половины, и оно видимо произвело на него сначала недурное впечатление.

Вот что он мне сказал:

-- Ваша статья очень оригинальна и остроумна. Если бы у меня был журнал, я бы, непременно, ее напечатал с некоторыми замечаниями. Ваши взгляды на славянство

большую часть верны. "Славянство есть и оно очень сильно; славизма нет". Это правда. Хотя и есть что возразить. Напр., вы представляете Россию в виде какой-то индифферентной почвы, на которую действует (или над которой работает) византизм... Но, однако, есть и в России нечто свое и на церковной почве. Так, напр., у нас теперь заботятся о том, чтобы священников избирали себе сами приходы. Приход -- единица, которую Византия почти не знала. Византия заботилась о крупных массах, о племенах и т. д.

Он говорил еще что-то в этом роде. Можно было бы многое возразить на это; хотя бы то, что именно племенного-то начала в Византии и незаметно, все племена без различия сливались в одной идее, в православии. И еще, что в Турции давным-давно и селяне, и горожане имеют большое влияние не только на избрание священников, но и епископов. Трудно и теперь епископу греческому удержаться долго на месте, если жители его не пожелают, и им всегда есть возможность писать в Патриархию жалобы. Патриархия редко не уступает. При мне подобным образом пало

несколько епископов (Янинский Парфений, Адрианопольский Кирилл, один Салонский и другие.) В цветущие времена Византии, насколько мне известно, жители выбирали сами себе священников, а духовная власть утверждала их. Есть даже особая книжка Иоанна Златоуста о священстве, где он объясняет, почему он отказался от сана иерея и скрылся, когда его хотели прихожане избрать. Из нее и из многого другого видно, что избрание народом иереев дело вовсе не новое, не русское, и если уж искать у нас оригинальности (увы! с фонарем или микроскопом!), то скорее все-таки в прошедшем нашем, как оно ни было бесцветно сравнительно с прошедшим миров истинно культурных, а никак не в настоящем и не в близком будущем... Напр., наше наследственное родовое левитство священников, наши приходы, отдаваемые в приданое за старшими дочерьми умерших попов; наши семинарии, наши епископы, обремененные орденами и все-таки чрезвычайно влиятельные, по-своему твердые, часто даровитые и, несмотря на ордена, иногда и святые по жизни (напр., Филарет

Московский); наши белые клобуки митрополитов с алмазами... Все это не похоже ни на католичество, где все духовенство безбрачно, ни на протестантство, где вовсе нет черного духовенства (а все серое с оттенком кабинетной профессуры), ни на Византию, где не было ни наследственности, ни орденов на разноцветных лентах, ни белых клобуков, ни родовых исключительно духовных семинарий... где все в этом отношении было либеральнее, эгалитарнее, подвижнее. Увы! до Петра I мы были слишком похожи на Византию, с Александра II-го мы становимся слишком похожи на Европу (не на Францию, не на Англию или Германию, а именно на Европу), на какую-то среднепропорциональную Европу, не берусь решить -- на нечто худшее или на нечто лучшее частных западных цивилизаций... Но, конечно, на нечто еще более нынешнего Запада опошленное и бесцветное. И мне даже кажется (и я боюсь этого), что каждая церковная реформа у нас в духе первых веков православия, имеющая в виду приблизить нас к первым векам христианства, вместо этого приближает нас еще больше опять-таки к той же

Европе, посредством сочетаний, которые можно даже и предвидеть. Выборное начало, всеобщее голосование, то *suffrage universel*, на которое сами славянофилы так строго нападают, когда оно приложимо к высшей политической жизни (см. биографию Тютчева Ив. Аксакова. Москва, 1874), на Западе везде торжествует и, заметим, не в той форме корпоративно-феодальной, которой организация Великобритании обязана до сих пор своим величием, а в растрепанно-индивидуальном, в каком-то бесцветно личном виде. У нас оно вводится также постепенно повсюду: в земстве, в мировых учреждениях и т. п.: у нас уничтожены почти совсем наши сословные корпорации и чисто денежный и ученый ценз *fait la pluie et le beau temps*[8] в губернских маленьких конституциях, пока не пришел период еще октроировать центральную законодательную земскую думу на основании тех же западно-буржуазных начал: кошелька и университетского диплома (одинаково способных быть уделом пошлости, бездарности и низости).

В постройку церковной администрации

нашей внедряется мало-помалу со всех сторон светское начало: семинарии желали бы вовсе уничтожить; их видоизменяют глубоко, находя, что прежнее духовенство наше имело слишком мало благотворного влияния на народ и высшее общество вследствие замкнутости своей, его хотят всячески сделать более светским, забывая, что если духовенство, воспитанное по-прежнему, не влияло особенно благотворно на мирян, то оно же и само трудно подвергалось тлетворному воздействию последних, не легко уступало им; просто не понимало -чего образованные миряне хотят?.. А непонимание есть часто средство несравненно более верное для предохранения людей от какого-нибудь влияния, чем то слишком высокое понимание, на которое, к несчастью, рассчитывают нередко мыслящие и очень ученые люди, судя ошибочно по себе, по своему уму и знанию целые толпы и массы народа. Гораздо легче не дойти до того среднего понимания, которое так вредно, чем перемахнуть через него. Именно это-то среднее, дурацкое, опасное понимание (или так называемый здравый смысл) доступно большин-

ству. Избрание священников по приходам, избрание самих епископов епархией (которое даже "Русский Вестник" давно предлагает), новые духовные суды, ограничивающие власть епископа коллегиальной властью женатых попов, уже потому, что они женаты, более близких к общему уровню; нападки на монастыри (пока еще в печати и в разговорах, но мы уже узнали за эти 10--15 лет, до чего у нас скоро всякое слово теперь становится делом); все это те признаки вторичного смесительного упрощения, о котором я говорю давно: самое стремление обратить все штатные мужские монастыри в общежития, есть, во-первых, соединение путей, упрощение картины -- это раз; а, во-вторых, в сущности это мысль крайне лукавая и лжебогомольная. Говорится, будто бы духовное начальство (т. е. обер-прокурор), фрак-граф, буржуа, "маркизно виду ты и хам по убежденьям" заботится о благочинии иноческом, о том, чтобы монашество было более строго, чтобы аскетизм был выше; а в сущности выходит только стеснение монашеству, ограничение его; не всякому под силу жить под деспотизмом киногий, а

жить хорошо можно и в штатном. Люди знающие говорят, что в штатном Новом Иерусалиме, под Москвой, у архимандрита Леонида живут монахи лучше, чем, напр., в киновииальной Угреше, где, как слышно, сам настоятель о. Пимен сознается, что он может устроить прекрасный монастырь, но не умеет создать монахов.

Итак, все реформы и в церковной сфере, все течение мыслей даже у славянофилов, по видимому столь церковных, мнения ученых мирских попов, либеральные фокусы-покусы властей и т. п. при грубейшем непонимании всего этого нашей публике все это доказывает одно: дух уже повеявшего на общество вторичного смешения и расстройства есть такой Протей, который принимает всевозможные формы и обманывает даже очень умных и даровитых людей, принимая где нужно и православный лик для разрушения прежних порядков. Все эти возвраты к давнему и более свободному прошлому своей церкви, своего государства, вечевые реставрации и т. п. крайне обманчивы; совершаясь вовсе не при тех условиях, при которых жила древность,

они приводят вовсе не к тем результатам, к каким приводили свобода и равенство перво-бытные. Другое дело было избрание епископов и священников в IV и V веках, когда придворные дамы спорили по вечерам об походе св. духа, или теперь, когда в избрание епископа непременно вмешиваются Лохвицкие, Максимовы, Краевские, Плевако и т. п. люди.

Иное дело децентрализация Франции в эпоху феодальную; иное дело поздняя попытка бриссотистов сделать провинции более свободными от Парижа; если бы Робеспьер их не казнил и если бы они успели в своем предприятии, то Франции не было бы и следа теперь. Ее попридержала на полвека в славе только одна централизация. Менять и меняться не только надо, менять и меняться неизбежно, но тот кто меняется к цветению -- расслояет и дисциплинирует, напр, подобно Петру; и если православию суждено еще расти и цвести в России и в славянстве, то не в таких пустяках, как избрание приходом священников или неизбрание их, найдет оно себе пищу и уважение, а, напр., хотя бы в чрезмерном возвышении царьградского епископа-

ского трона после взятия нами Босфора, ибо тогда на этом троне не будут греки и только греки, а будут православные разных племен. Я говорю об этом административном, но не догматическом папизме во второй половине моей книги "Византизм и славянство", которую я теперь должен был отделить под особым заглавием: "Еще о болгарском вопросе".

(Как бы ахнул, я думаю, Аксаков, когда бы прочел еще и эту часть; но он ее не видал, и она сперва валялась у Каткова, а теперь валяется в редакции "Русского Мира", которого редактор Ф.Н. Берг все сильно сочувствует и сочувствует, но как-то слабо содействует и содействует.)

На вечере своем при других Аксаков был очень внимателен ко мне. Он со всеми знакомил меня, говоря: "Такой-то, бывший 10 лет консулом в Турции, тот самый, который"... "Панславизм и греки" ...под именем "Константинова"... И опять... "Такой-то... Панславизм и греки... Консул в Турции... Константинов". Были на этом сборище кн. Черкасский, Самарин, не Юрий, а другой (его брат, кажется; красивый, хотя и рыжий), был некто Васильчиков,

очень distingue[9] с добрым и радостным выражением лица, был еще один высокий, плотный, энергичный мужчина с темной эспаньолкой, никак не могу вспомнить, кто он. Важный и самоуверенный; но по моему мнению он говорил все вздор и так сухо и пусто, что я даже и забыл о чем именно. Была очень красивая, хотя уже не молодая женщина, графиня Баранова (сестра Черкасского, такая же брюнетка азиатская, как и он); были еще два хамоватых человека, оба как-то на одно лицо, один повыше, а другой пониже; я узнал, что один из них тот Барсов, который писал против епископской власти и в пользу поповских судебных конституций. (Еще Елагин возражал ему очень хорошо.) Был, наконец, и этот жирный расхлебня, ученый и ограниченный мужлан Нил Попов, к которому наилучшим образом прилагается то, что я сказал о разных болгарских Топчилештах -- Собакевич в соединении с Гамбеттай. Он, кажется, очень доволен своей судьбой, своим животом, скучной неумной ученостью и тем еще, должно быть, что у него старые его штаны все вылезают из-под жилета и что все у него отту-

да видно...

Князя Черкасского я здесь в первый раз увидел; дома я его не застал и оставил у него карточку с письмом княгини Голицыной. Он был очень любезен и как-то весел со мной; на энергическом татарском лице его была постоянно вполне естественная, веселая улыбка, глаза ужасно хитрые. Расспросив кой-что об Игнатеве и о княгине Голицыной, он сел против меня и очень вежливо и почти дружески тотчас приступил к строгому разбору моей статьи "Панславизм и греки", говоря, что она написана прекрасно и потому именно одно время кто-то из их круга и собирался на нее отвечать; но какие-то обстоятельства помешали. Я защищался и оправдывался как умел.

Все слушали наш диспут, очень покойный и благосклонный.

-- "Итак, славяне, по-вашему, для нас опасны, а греки наши естественные союзники. С точки зрения правительства нашего вы правы; оттого-то ваша статья и понравилась им в Петербурге..."

(Говоря это, князь Черкасский все лукаво поглядывал на Аксакова.)

-- Я потому не забочусь о славянах, что и без меня есть кому говорить много о пользе сближения с ними; что ж мне делать, если я боюсь всеславянской демагогии и если я нахожу, что и для славизма необходимы охранительные начала. Князь Черкасский заметил на это:

-- Охранительные начала есть разные. Если я буду, напр., потворствовать константинопольскому патриарху, то еще понятно, что это может назваться поддержкой тех охранительных начал, которые нам свойственны; но охранение папства, напр., может служить поддержкой революционных сил в России. Или если вы, напр., не сочувствуете теперешнему status quo, т. е. реформам так называемым либеральным, то вы скорее революционер, чем охранитель. Я отвечал на это, что не имею такой привычки, как он, к публичным прениям и потому, может быть, не сумею хорошо поддержать против него свои мнения; что статья "Панславизм и греки" очень мала, но если мне удастся напечатать то, что я теперь привез с собой, тогда будет, я надеюсь, виднее, почему именно я вообще опасаясь за-

падных и южных славян и в особенности болгар в церковном вопросе... В той статейке, о которой он говорит (прибавил я), я не мог и развить вполне мою мысль, потому что я знал, что пишу для Каткова... Князь Черкасский с улыбкой пожал плечами и сказал: "А! мы этого и знать не обязаны! Мы судим только напечатанное..."

-- Вы правы с вашей точки зрения, -- сказал я, -- но и я имею свои оправдания и, повторю, многое, может быть, станет яснее, если я напечатаю другие мои вещи... Тут есть система, верная или нет, но только совсем особая, которую я теперь объяснить не могу... сказал я.

Все, даже и обе дамы (Аксакова и Баранова), молча слушали нас; я не хотел больше продолжать спор, который по вышеизложенным причинам был мне вовсе не выгоден, но остался очень доволен любезным и, так сказать, гостеприимным тоном, с которым препирался со мной этот энергический хитрец, один из заглазных и лично незнакомых любимцев моих в России. Я его любил отчасти за деспотизм, который он обнаружил в Польше,

и еще более за прекрасный ответ на славянском съезде этому Ригеру, который задумал было защищать поляков на обеде... "Не стоит так много говорить о нескольких привислянских губерниях", в этом роде, если не ошибаюсь, хватил его этот русский князь с лицом какого-то кипчакского мурзы... Аксаков тут же поддержал меня, говоря:

-- Теперь я читаю в рукописи чрезвычайно интересное сочинение К. Н-ча "Византизм и славянство". Особенно любопытно читать труд человека, который, понимаете... 10 лет сидел в Турции и думал... Это сейчас видно. Видна свежесть мысли. Видно, что человек пишет совершенно вне наших здешних условий и привычек, не думает ни о цензуре, ни о других препятствиях... Между прочим, г. Леонтьев говорит совершенно верно: "Славянство есть, славизма нет". Есть китаизм, германизм и т. д. Такого отвлеченного славизма, взвинченного над славянством, как там очень удачно сказано, он не видит.

На этом кончился разговор о моих сочинениях, который занял порядочную часть вечера и который я и сам не прочь был прекра-

тить, ибо с меня и этого было достаточно для успокоения за будущее мое положение в этом, конечно, более всех других порядочном и облагороженном литературно-ученом кругу. Я был доволен, несмотря на все возражения. Пожалуй, даже и возражениями был вдвойне доволен и потому-то ни одно из них не поколебало меня внутренне, и все дали только случай, яснее проверив себя, сказать себе: Только-то? Ну, это не страшно... и еще потому, что я вовсе и не искал быть простым прихвостнем старых славянофилов, несмотря на все мое уважение к их взглядам, и трудам, и идеалам; вовсе не думал о том, как бы сжаться, чтобы угодить им лучше. Я готов скорее сжаться для Каткова, ибо считал его всегда чужим, перед которым надо по необходимости обрезать себя, чтобы провести хоть часть своих идей... А на славянофилов я надеялся как па своих, как на отцов, на старших и благородных родственников, долженствующих радоваться, что младшие развивают дальше и дальше их учение, хотя бы даже естественный ход развития и привел бы этих младших к вовсе неожиданным выводам, хо-

тя бы вроде моего: "Тот, кто хочет культурного славянофильства, своеобразия или славянообразия, -- должен опасаться политического панславизма, ибо он будет слишком близок к эгалитарно-республиканскому идеалу, к Западу, и без того давно пожирающему нас духовно; для достижения своей цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими, индийскими, китайскими началами и охранять крепко все греко-византийское, чем любезничать с Ригерами, Наперстками, Смолками, Фитами" и т. д. Позднее я увидел, что именно от Аксакова я такой paternite[10] не увижу, а скорее от старых стариков Бодянского и Погодина. Но первым знакомством моим с редактором "Дня" и "Москвы" я был очень доволен. Для меня при недостаточности моих денежных средств в эту зиму и вообще при затруднительном моем положении было очень важно заметить, как со мной обращаются и поступают все эти люди, имеющие больше моего денег, известности и влияния. Понятно всякому, сколько может сделать пользы иногда в удачную и выгодную минуту одно какое-нибудь слово хорошей или дур-

ной рекомендации... и потому именно, что это слишком понятно, я особенно об этом распространяться здесь не буду; я упомянул об этом только потому, что хотя я очень самолюбив и даже иногда до крайности тщеславен, но когда касается до моего ума и литературных способностей, то сознаюсь, в них-то я так уверен, что гордость моя уже мало и места оставляет тщеславию или жажде одобрения... Только в самые последние года, когда я впервые почувствовал глубоко, что смерть моя уже наверное не за горами, я стал мелочнее и на счет литературы; я стал больше прежнего дорожить моим положением как литератора; прежде я дорожил больше мнением какого-то незримого гения чистой красоты, который парил вокруг меня в те часы, когда я думал, писал и перечитывал написанное мною; я больше чтил это незримое воплощение собственных критических вкусов моих, чем мнение того или другого писателя или редактора. Я знаю, как ошибочны и как еще чаще неискренны и расщепливы эти мнения. Теперь, когда внутренние силы стали слабеть в неравной и долгой борьбе, когда разнородные

бури души моей износили преждевременно мою от рождения несильную плоть, когда я, просыпаясь утром, каждый день говорю себе *memento mori*[11] и благодарю Бога за то, что я жив, и даже удивляюсь каждый день, что я жив, тогда как бревенчатые стены моего флигеля все увешаны портретами стольких покойников и покойниц, несравненно более крепких при жизни, чем я... Теперь, когда мне нужны деньги не для того, чтобы дарить пятичервонные австрийские золотые на мони-сто какой-нибудь янинской шестнадцатилетней турчанке, не для того, чтобы с целой свитой скакать по горам и покупать жене обзьян и наряды, лишь бы только она не скучала и не мешала мне делать, что хочу... но для того, чтобы сшить себе дешевые сапоги, чтобы купить жене калоши, чтобы голод, наконец, не выгнал меня и близких моих отовсюду, из монастыря или из самого моего Кудинова на какую-нибудь работу не по силам и вкусу... Теперь я смирился, если не в самомнении, то, по крайней мере, в том смысле, что сила солому ломит... и что прежним величавым удалением среди восточных декораций,

прежней независимостью я уже ничего не сделаю... Я смирился литературно в том смысле, что иногда... даже... (каюсь, каюсь и краснею этого чувства...) я подобно другим желал бы быть членом обществ разных, принимать участие в юбилеях, в чтениях публичных, над которыми я всю жизнь мою так смеялся и которые так презирал за то, что только у одного лишь Тургенева находил наружность личную для публичной поэзии. Я вижу, что разные Аверкиевы, Авсеенки и т. п., живя как все и обивая пороги редакций, составили себе хоть какое-нибудь имя и положение. Они литературные utilitee[12], и хотя согласие помириться на подобной немощи и возможность хотя бы мгновенной и преходящей зависти к подобным посредственностям я считаю в себе лишь признаком усталости, минутами малодушия и эстетической изменой, хотя я уважаю гораздо больше себя прежнего, себя удаленного и брезгающего медленным выслуживанием в литературных кружках, однако... сказал я, что делать! сила солому ломит. Мне нужно жить, наконец (т. е. существовать), и у меня есть обязанности... Вот что я хотел ска-

зять, вспоминая о том, что я больше прежнего стал беспокоиться о том, как примет тот или другой из г. г. литераторов Право! студентом даже я был на этот счет равнодушнее и спокойнее. Смолоду я даже жалел беспрестанно то Каткова, то Кудрявцева, то мадам Сальяс, то, пожалуй, и самого Грановского изредка, соблезновал, думая, как им должно быть жалко и больно, что они не я, что они не красивый и холостой юноша Леонтьев, доктор и поэт с таким необозримым будущим, с такой способностью внушать к себе любовь и дружбу и т. д. Студентом и молодым доктором в великом признании своем я был до того уверен, что нередко и пренебрегал им, медлил, жег и рвал беспрестанно написанное, по два года сряду не брал в руки пера и нередко гордился больше ловкой ампутацией или удачным излечением какой-нибудь упорной сыпи, успехами в верховой езде или победой над женщиной, чем похвалами, которые слышал своим литературным начинаниям от Тургенева, мад. Сальяс и других. В этом я был уверен; в практических занятиях моих, в хирургической ловкости, в эквитаии моей, в красоте

телесной (и в симпатии женщин) я часто сомневался... и хотел достичь большего и большего... Я хотел тогда быть во всем хоть сколько-нибудь доволен собою. Не напечатавши еще ничего, кроме двух посредственных повестей, я жил смолоду и потом до последнего времени, как будто бы пресыщенный славой человек, как Фридрих П-й, который иногда больше заботился о своих французских стихах, чем о победах. Не победить, не разбить русских, австрийцев и французов он не мог... "Но... вот что важно, думал он, что-то скажет Вольтер о моих стихах?.." Так думал Фридрих.

Не написать замечательной вещи я не могу... думал я смолоду. Но что подумала Любаша (напр.), когда подо мной лошадь вчера взвилась три раза на дыбы, как свечка... А я не обратил на это как будто и внимания?.. О! я напишу еще много, много, успею!.. Но что ж думает доктор NN... он думает, что только он один практический человек? Что я не сумею счастливее и смелее еще его вправить этот вывих или вскрыть этот абсцесс? Я докажу ему, что он ошибается. Позднее то же самое думалось часто и на дипломатической служ-

бе. Конечно, если рассматривать дело только с той точки зрения, что мне нужно было обеспечить и устроить себя чем-нибудь житейским для того, чтобы и в идеальном труде было свободнее, я, конечно, хорошо делал, что вел, и будучи врачом и будучи консулом, дела так, что меня предпочитали нередко людям так называемым чисто практическим (не знаю почему -- надо бы сказать глупым, лукавым или сухим); я и пишу обо всем этом не столько в укор себе, сколько в укор другим литераторам и обстоятельствам. По идеалу я тогда был правее, чем теперь; но неправота других понудила меня, наконец, к уступкам и к согласию с горя влачиться, если уж нужно, и по этой битой и опошленной дороге столичного литераторства. Я говорил уже, что готов был взяться даже и за редакторскую деятельность, которую вовсе не уважаю и не люблю, если бы условия были бы очень выгодны. Бог спас меня. Вот что я хотел сказать.

К следующему аксаковскому четвергу статья моя почти вся была им уже прочтена, за исключением нескольких последних страниц или последней главы, где я говорю о том, по-

чему мы должны остерегаться юго-западных славян и в особенности болгар в их церковном с греками вопросе.

К первому четвергу Аксаков прочел только все первые главы о том, что нет славизма, но есть обруселый византизм, лучше которого и с культурной, и с государственной точки зрения ничего уже не выдумаешь. Ко второму он кончил видимо все изложение моей гипотезы триединого культурно-органического процесса. Он был уже не тот; не только его взгляды на мой труд и даже тон его личного обращения со мной изменились к худшему.

Рукопись моя лежала раскрытая на его столе.

-- Я прочел ваш труд, -- сказал он, -- мне осталось дочитать очень немного. Повторяю, все это очень умно, остроумно, в высшей степени оригинально; изложено прекрасно... Но есть вещи, с которыми никакой возможности нет согласиться. Во-первых, вы относитесь к христианству не как к вечной и несомненной истине откровения, а как к обыкновенному историческому влиянию[13]. Потом вы проповедуете необходимость юридических перегово-

родок, привилегий сословий, которые у нас, слава Богу, разрушены. Неравенство будет и должно быть всегда, но достаточно того, что один богат, а другой беден, один умнее, другой глупее и так далее[14]. Вы говорите (продолжал он все более и более разгораясь и даже краснея)... вы говорите: "наслаждение мыслящим сладострастием" и... и дальше даже приводите римскую языческую пословицу "quod licet Jovi non licet bovi" (что прилично Богу, то нейдет волу), или что прилично изящному и могущественному человеку, то вовсе не к лицу нынешнему буржуа.[15] Поневоле вспомнишь Павла Голохвастова. Мы с ним виделись летом, перед этой зимой, у Шатилова в тульской деревне последнего, и он, говоря со мной о статьях моих, сказал мне: "Лучше всего вам будет обратиться за помощью к старику Погодину. Черкасский человек очень хитрый... он все сообразуется с обстоятельствами... А Иван Аксаков... я не знаю, как сказать... Странно было бы такого человека назвать глупым, -- однако я не нахожу другого слова... Просто перейдя за известную черту, -- он становится глуп". Итак, Аксаков:

- Quod licet Jovi, non licet bovi![16]-- продолжал он с честным негодованием, краснея в лице... -- Языческая поговорка; вы, однако, защищаете православие... Это, наконец, не научно... вы требуете научного отношения к жизни, а это разве научно? Разве это не пристрастие? (хорошо, пристрастие сказать, что князь Цертелев красивее, ловчее и остроумнее, чем Перипан-допуло). Христос равно для всех сошел на землю... (выходит по Аксакову, что Христос пришел на землю для того, чтобы дельный, жирный приземистый, пучеглазый Amiable, которого так уважает Хитров, взял бы себе в Париже трех любовниц на деньги, которые он заработал в мошенническом процессе какого-то тоже... Хиана... забыл... И чтобы таким образом Amiable этот имел бы равные эстетические и нравственные права с красавцем и героем юношей Дон-Жуаном. Прекрасно и научно, нечего сказать).

-- Потом, -- продолжал Иван Сергеевич, -- вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас ваш процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фата-

листический, деспотический, неизбежный...
Поэтому о чем же хлопотать? Зачем писать...
Вы -- Иеремия, плачущий над развалинами...

-- А разве Иеремия не писал? -- спросил я.
Аксаков никак видимо не ожидал этого соображения и замолчал вдруг; он забыл, что Иеремия писал. Напомнив ему об этом, я попросил его посмотреть поскорее, пока не собрались гости, 2-3 последние страницы, где говорится о болгарах. Он согласился охотно, и я тотчас же прочел ему это место. Вот оно: "Болгаре слабы, болгаре бедны, болгаре зависимы, болгаре молоды, болгаре правы, наконец", -- скажут мне.

Болгаре молоды и слабы.. "Берегитесь, сказал Сулла про молодого Юлия Цезаря, в этом мальчишке сидят десять Мариев (демократов!)"

"Опасен не чужеземный враг, на которого мы всегда глядим пристально исподлобья, страшен не сильный и буйный соперник, бросающий нам в лицо окровавленную перчатку старой злобы..."

"Не немец, не француз, не поляк -- полубрат, полуоткрытый соперник". "Страшнее

всех их брат близкий, брат младший и как будто бы беззащитный, если он заражен чем-либо таким, что при неосторожности может быть и для нас смертоносным".

"Нечаянная, ненамеренная зараза от близкого и бессильного, которого мы согреваем на груди нашей, опаснее явной вражды отважного соперника". "Ни в истории ученого чешского возрождения, ни в движениях воинственных сербов, ни в бунтах поляков противу нас мы не встретим того западного и опасного явления, которое мы видим в мирном и лжебогомольном движении болгар. Только при болгарском вопросе впервые с самого начала нашей истории в русском сердце вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность -- племенное славянство наше и византизм церковный..."

"Самая отдаленность, кажущаяся мелочность, бледность, какая-то сравнительная сухость этих греко-болгарских дел как будто нарочно таковы, чтобы сделать наше лучшее общество невнимательным к их значению и первостепенной важности, чтобы любопытства было меньше, чтобы последствия заста-

ли нас врасплох, чтобы все самые мудрые люди наши дали бы угаснуть своим светильникам..."

-- Вот видите, -- воскликнул он, -- положим это и правда. Да мало ли что правда. Так нельзя писать для печати... Разумеется, болгаре неправы, это бесспорно... Но ведь и греки солгали духу святому.

На этом наша беседа остановилась. Начали собираться другие гости, и мы вышли в гостиную.

Я очень мало возражал Аксакову во все время этого *tete-a-tete*. На этот раз говорил все он и с большим жаром. Я, помню, упомянул как-то о государственной необходимости. Он вспыхнул и сказал: "Черт возьми это государство, если оно стесняет и мучает своих граждан! Пусть оно гибнет!" Я, говорю, почти не возражал; с первых слов его я понял, что между нами та бездна, которая бывает часто между учителем и учеником, ушедшим дальше по тому же пути. Добрый ученик продолжает чтить учителя, не уступая своих новых и часто неожиданных выводов, но учитель не негодует на эти выводы, может быть именно

потому, что он полусознательно улавливает логическую нить, которая ведет к этим неприятным ему результатам от его же собственных начал.

Как скоро я это заметил, я стал тотчас же равнодушен к тому, что Аксаков, собственно, думает о достоинстве моего труда, а все мое внимание устремилось лишь к практическому вопросу: поможет ли он мне напечатать его или нет?.. Пусть он ненавидит и презирает, только пусть напечатает как-нибудь. "Бей, только выслушай или дай другим выслушать..."

И о том, что я сказал так длинно в скобках, то есть об отношениях церковных к Перипандопуло и Амиаблям, я ему упомянул в свое оправдание каких-нибудь два слова и о болгарях, и вообще о власти и сословиях не спорил; а что я смотрю на христианство только как на историческое явление (на Византии), я полагаю, и отвечать вовсе не стоило.

Позднее, когда собрались гости, я занялся с неким Кар-Заруцким, который печатал статьи в "Гражданине"; он занимается теперь в особенности старокатолическим делом, Дел-

лингеров и т. д. Я слушал очень охотно его изложение; а Аксаков передавал целому кружку, собравшемуся около него, впечатления, вынесенные Юрием Самариным из его последнего пребывания в Германии. Речь была о том, что прежняя нравственность германской жизни давно уже портится. Что народ глубоко развращен, утратил религиозность и что его зверские, разрушительные инстинкты сдерживаются теперь лишь силою и страхом. Благонравие же во многих семьях образованного класса держится нравственным капиталом, прежде накопившимся под влиянием христианских принципов. Аксакову возражал один ужасно жиденький и не авантажный юноша (кажется какой-то Толстой). Он возражал горячо, но как-то трепетно, взволнованно и опустивши очи свои долу от стыда и сознания своей дерзости. Он говорил, что быт образованных классов в Германии очень нравственен и это доказывает, что общество и без религии может быть нравственным. Ибо несомненно, что в Германии теперь религия слабее, чем, напр., во Франции. Аксаков на это сказал ему с вежливо отеческим оттен-

ком: я не буду говорить теперь о безусловном достоинстве христианства. Речь идет лишь о тех государствах и обществах, которые вышли из христианства и устроились на нем. Этим-то обществам грозит гибель, когда они откажутся от христианского авторитета. Дряблый юноша опять начинал свою боязливо-настойчивую речь. Аксаков опять говорил ему: -- Я не говорю теперь...

Я, полуслушая Кар-Заруцкого, думал: что же это? Я ли не понимаю чего-нибудь, или Аксаков не хочет постичь? Немцам и странно и опасно потрясать католические и протестантские авторитеты, а русским и болгарам все ни о чем. "Болгаре неправы противу Патриархии, но нельзя так писать для печати?". Хороша, по крайней мере, искренность подобной лжи, подобного лицемерия! В вечер были и другие случаи, не лишённые интереса, но об них поговорю после. Теперь я должен возвратиться к последним дням моим в Москве, которые начались было работой над "Складчиной" и кончились ужасной крайностью, совершенным литературным разгромом, потерями в суде, опасностью лишиться по описи

последней шубы и рубашки, внезапным отъездом в монастырь и еще одним унижением, о котором мне до сих пор вспомнить больно. Я об этом после в свое время скажу. V

Десять-двенадцать дней, которые я провел за статьей "О Складчине", были единственными сносными днями, которые я провел в Москве со дня прибытия до дня отъезда моего в монастырь.

Давно уже (с тех пор как в 70-м году я понял, что пора мне начать стареть) я ищу только одного: церкви по праздникам, просторной и эстетически не противной комнаты, свободы писать что хочу с утра, напившись кофею не спеша, и скорого сбыта моих сочинений в печать. Я даже готов не искать уже хорошего здоровья; к недугам я привык и мирюсь с ними, когда они не угрожают мне ранней смертью и не препятствуют умственной моей жизни.

В гостинице "Мир" номер мне достался хороший и просторный, с большими окнами. Даже обои (я терпеть не могу обои вообще; тоже вторичное упрощение) в нем были не очень противны: светло-кофейные, с большими

ми, яркими, красивыми и хорошо сделанными цветами. Мне не было стыдно и страшно в этой комнате; в этой комнате я мог писать, не пугаясь беспрестанно от мысли, что может быть сейчас умру от бедности, что и я петербургский бедный фельетонист, учитель гимназии, что я Бурмов, приехавший в Москву или какой-нибудь вообще Успенский... Да простит мне Бог эти дворянские чувства. Я до того сильно эти вещи чувствую, что из гостиницы Киттрей (в Кади-Кее) бежал поскорее в Халки, между прочим, потому, что у Киттрея ковер был какой-то подлый, а дешевая посуда вся отродясь уже в черных пятнышках. Однажды я заболел у Губа-стова в квартире; Петраки, который меня знает отлично, увидавши, что я не унываю, сказал мне: "Это Вы оттого не отчаиваетесь, что здесь посольство и все персидские ковры!"

Несколько раз в течение этих хороших дней я был у милых Неклюдовых, которые всякий раз напоминали незабвенные мне гостиные и кабинеты моих цареградских друзей и приятельниц[17]. Был и у Аксакова на четверге и встретил там несколько новых

лиц, не лишенных занимательности. Дома я все больше и больше свыкался с доброй мадам Шеврие, которая держала себя со мной, как родственница, и я у нее за буфетом и в комнате ее проводил иногда целые вечера. Даже мой несносный, тупой и вечно потерянный Георгий и тот хвалил эту набожную, тихую и добрую француженку и соглашался с тем, что мы живем скорее в семье, чем в гостинице. По средам и по пятницам мне по-прежнему готовили постное, и, занявшись все утро, я не раз заходил и в будни к вечерне то в ту, то в другую церковь, молился охотно и тепло и во всех церквях с радостью видел довольство, богатство даже, вкус, видел, что везде есть набожные люди всех сословий и возрастов, видел, что храмы украшаются и подновляются по-прежнему...

Луч света, луч жизни начал опять слегка светить вокруг меня... Отчизна, которая показалась мне сначала так негостеприимна, чужда и даже во многих отношениях противна в этот приезд мой, стала как будто бы оживать передо мною. Все это оттого, что я стал писать.

В это самое время я читал три вечера сряду "Генерала Матвеева" Бергу, который был от него в восторге и говорил, что несколько поправок и произведение это будет в своем роде классическое.

Я начинал немного отдыхать и рассчитывал так: -- Хоть роль постоянного сотрудника газеты или журнала, сотрудника, живущего в столице, ужасно всегда мне казалась пошла, прозаична и мелка, но что же делать... И для того чтобы попасть в очаровательный Крит, видеть живописных турок и греков, водить с ними дружбу, прибить Дерше, быть повышенным и написать потом "Хризо" -- нужно же было прослужить рядом... хоть бы с Извековым и Смельским в петербургском департаменте 9 месяцев, завистливо сокращая чужие донесения и думая: "Есть же такие счастливицы, которые ездят с вооруженными арнаутами по горам! Так и теперь (по справедливому мнению Губастова) следовало перетерпеть хоть два года, подновить себе связи с этой противно-растрепанной от эмансипации и прогресса Россией, составить себе прочное литературное положение и тогда вернуться

на Босфор и Халки доживать остаток дней своих, деля их между отшельником Арсением, богословами-греками и моим милым посольством, в котором для меня соединилось все добродушие и теплота семьи со всем оживляющим блеском и умом высшего света... (Я бы заставил хоть одного из тех, которые нападают на посольское общество, пожить хоть полгода в интимности Катковых, Лохвицких и т. п. как жилал я, и я уверен, что они заговорили бы другое!)

В эти так скоро прошедшие две недели я стал верить, что я могу устроиться в Москве, помогать семье своей и даже платить, не торопясь, мои долги в Турции. Долги эти ужасно терзают теперь мне совесть. Я надеялся, что мелкие статьи, очерки мои могли мне давать средним числом рублей 150 или 200 в месяц, если бы они только появлялись тотчас по окончании и в каждой книжке журнала.

Я не буду здесь распространяться подробно о содержании моей статьи; я упоминал о ней уже прежде; но все-таки и здесь хочу сказать о том же пояснее. Я вообще могу сказать, что у меня давно уже вкус опережал творчество.

Вот в каком смысле. Я помню еще, когда мне было лет 25 и когда я по заключении Парижского мира в 56-м и 57-м годах гостил долго в прекрасном степном имении О.Н. Шатилова в Крыму, я однажды читал статью Чернышевского "Критика Гоголевского периода". Чернышевский тогда еще не развернул вполне своего революционного отрицательного знамени; он был в то время еще Эстетик 40-х годов; молодой, начинающий, но уже очень хороший писатель. Большая статья эта очень мне нравилась, потому что формулировала ясно и очень подробно именно тот взгляд, который я сам имел на Гоголя, Белинского и других замечательных людей 40-х и первых 50-х годов.

Помню, в одном месте было у него сказано, что "при всем великом значении Гоголя нет никакого сомнения, что у нас будут со временем писатели более гениальные, чем он..."

Я тогда, помню, положил книгу, задумался о том, не я ли один из этих будущих писателей, и стал ходить по комнате и смотреть из окон моего флигелька на берегу речки Карасу. Степная тишь вокруг, туман южной зимы, ко-

торый стоял над древнескифскими курганами, мираж степной, которым я так часто любовался во время моих одиноких мечтательных прогулок, умные, высокоразвитые хозяева дома, с которыми я был дружен... Только что оставленная жизнь походных приключений и тяжелых, опасных лазаретных трудов, жизнь нужды и наслаждений... В 70-ти верстах от Шатиловых, на берегу бушующего моря, в тени огромных генуэзских башен молодая, страстная, простодушная любовница, к которой несколько раз в зиму возил меня сам Шатилов, говоря: "aliens a Cythere"[18] или "Rien qu'un petit tour a Paphos"[19], и когда вдали на краю степи показывались в одном месте темно-синие высоты тех гор, за которыми жила моя безграмотная, наивная и пламенная наложница, -- он декламировал: "C'est la que Rose respire... C'est le pays des amours... C'est le pays des amours"[20].

В 40 верстах от Шатиловых был еще и другой мир -- мать и дочь Кушниковы, в поместье Учкайя, исполненном унылой, степной поэзии... Матери было всего 35-36 лет и она была еще удивительно свежа и красивее до-

чери; дочь, очень хорошо воспитанная, смуглая, хорошо одетая, рассуждала со мной о Руди-не (который только что появился), о немецкой литературе, играла мне на фортепьяно "les cloches du Monastere". У нее было одно будничное кашемировое платье, клетчатое, малиновое и vert-romme и черный, длинный, бархатный cache-peigne; и то, и другое я очень любил. Любил ее легкую походку, ее сдержанность и хитрость, под которыми чуть-чуть брезжилась затаенная страстность. У нее было до 25 000 приданого, кроме земель, и осужденный умереть один маленький брат. У Шатиловых я жил не без дела; я был годовым доктором и лечил очень удачно его русских крестьян, татар и дворовых...

Практическая совесть моя была покойна и даже больше... Ибо в наш век ничто так не успокаивает идеалиста, как сознание того, что он делает и практическое дело и делает его даже во многих случаях лучше таких людей, которые, кроме своего практического ремесла, ничего не понимают, не заботятся о Гете или Лермонтове, о Рафаэле или Бетховене, о том, наконец, чтобы самим быть хорошими

и изящными по мере сил.

В России меня ждала преданная, любящая, умная, хотя и очень взыскательная мать в своей благоустроенной деревне, которая, конечно, должна была достаться мне, а не другим братьям.

Я тогда любил наше цветущее, сытое, хотя и небольшое Кудиново... старые липы его больших аллей стоят и теперь; на дворе его цветут бедные остатки тех роз, из которых мать моя сделала перед большим домом такую красивую кайму вокруг дерновых оазисов, окруженных и узорно изрезанных песчаными дорожками... Но дома теперь нет... В одичалом саду, на липах вьют гнезда скучные и шумные грачи, в аллеях трава по колено, и на узорных когда-то дорожках двора племянница моя тоже давно косит траву, и мы даже рады этому лишнему клоку сена для тех 3--4-х коров, которыми теперь богата наша дворянская нищета-Мать моя уже не ходит поутру после кофея в свежей кисейной блузе по саду с зонтиком; простой дерновый валик в селе Велине, в 12 верстах от нас, покрыл ее тело, и у меня еще и денег не собралось до сих пор,

чтобы сделать ей памятник! У племянницы моей, в одном из наших маленьких флигелей, висит в сторонке последний портрет покинутой мною старухи... Она, которая так долго держалась, которая была так долго бодрa, свежа, неумоима, горда, самовластна, хотя и всегда пряма и благородна... на этом портрете так жалка и так убита... На сморщенном лице, прежде столь открытом и надменном, в потухающих глазах, во всем видно столько уныния, столько немого отчаяния, такая мольба о пощаде, что я боюсь подходить к тому уголку, в котором висит этот ужасный для меня портрет. Говорят, она, которая плакала не легко, плакала горько и зажимала уши, когда рубили на своз наш большой старый дом... А для чего она продавала его? Чтобы увеличить тот небольшой капитал, который был мне нужен для уплаты другим братьям моим...

А я? Что сделал я?.. И все ли люди должны думать то, что думаю я, когда теперь вижу себя иногда почти с отвращением в зеркало и потом смотрю пристально на акварель, на которой я представлен студентом, таким юным, красивым... женоподобно-красивым, поло-

жим... но что ж за беда?..

Не думаю!.. Горчаков, Катков, Тургенев, Игнатъев, конечно, должны с другим чувством видеть портреты своей молодости и самих себя теперь, через столько лет... Если даже им и грустно иногда в такие минуты... то что такое грусть!.. Мне не грустно -- мне и страшно, и стыдно... А винить ли мне себя или других -- я не знаю...

И чтобы решить это стороннему судье, -- надо знать всю мою жизнь, столь бескорыстно посвященную мысли и искусству, надо понять весь ход моего развития и моего теперешнего упадка. Те, которые знают все это лучше других: Губастов, Ф. Берг, моя племянница Маша -- винят не меня, а других... А во мне иногда все тупеет от долгого напряжения мысли все в одном и том же обидном направлении, от одних и тех же горьких вопросов, которые как замкнутый круг возвращаются ежедневно. И я не знаю -- кто виноват? Недавно я прочел по-русски книгу Иова. Старые друзья Иова стараются доказать ему, что он великий грешник, что Бог по делам его наказывает его. Иов негодует; он не может по-

стичь и вспомнить, какие были те большие грехи его, за которые он несет такое ужасное наказание... Он может быть даже желал найти, вспомнить их, раскаяться... и не находит. Он старался быть добрым отцом, господином справедливым и милостивым, он помогал вдове, сироте и страннику... Он непоколебимо верит в Бога и надеется, любит его... "Нет! он никогда не поймет, за что его так казнит Провидение..."

Встает молодой Эллиуй и говорит ему с воодушевлением: "Да, ты может быть и праведен... "Но где ж тебе... тебе!., смертному постичь цели Божий... Почему ты знаешь, зачем он так мучит тебя... Разве ты можешь считаться с ним?!" На это у Иова нет ответа...

И не успел кончить молодой и восторженный мудрец, как сам Иегова вещает с небес то же самое. Мнение Эллиуя было гласом Божиим. "Иов прав, -- заключает Господь, -но мне угодно было испытать его".

Основная мысль этой великой религиозной поэмы -- вечная истина и не для одной религии. Есть на всех попрощах вины явные и есть вины и ошибки непостижимые самому

строгому разбору, самой придирчивой совести... И вины явные, ошибки грубые не всегда наказываются на этой земле, и правда и ловкость практическая не всегда ведут к цели... (я) говорю здесь практическая в самом широком смысле; практичен, например, поэт, когда он живет поэтично и вдохновительно, удобно и возбуждительно для творчества. Разве Байрон был бы Байроном, если бы он остался благополучно в Англии с miss Milbank?

В наш век слишком много стали приписывать человеческой свободе и человеческому разуму. Есть нечто выше нас и мы виноваты только тогда, когда не исполняем предначертанное нами, а так ли мы предначертали все в нашей жизни, как следует,

-- кто решит?..

Одно из самых сочувственных мне лиц в современной истории -- это Наполеон III[21]. Его сгубило то, что я зову вторичным упрощением Франции -- сила органическая, а не он развратил и погубил эту, уже и до него глубоко опошленную равенством нацию, как говорят, все эти презренные негодяи школы Jules Фавра и Гамбетта...

Я помню, когда я смолоду имел глупость тоже либеральничать (вполне искренно, и это-то и глупо!), добрый и честный Дмитрий Григорьевич Розен[22], увещевая меня верить больше Богу и Церкви, говаривал: "Non, mon cher K. Н-ч, croyez-moi, il y a quelque chose[23]. Я тогда улыбался с гнусной тонкостью, а теперь, когда я вижу у других эту тонкость, я не бью в морду одних -- только потому, что они мне кажутся гораздо сильнее меня, а других, которые не страшны, не бью потому, что не хочу судиться у мирового судьи... Но что я чувствую!.. Но что я чувствую!.. О Боже!..

Я думаю и Наполеон, отдыхая уныло в Вильгельмсгехе (кажется так?) говорил себе: "il y a quelque chose! А я то чем же так особенно виноват?.. Этот народ, подлый, как и всякий народ, сам меня избирал три раза..." Так и я говорю теперь: "Да, il y a quelque chose!" И если есть за мной ошибки и вины эстетические или практические в моей неудавшейся литературной карьере, то я их не вижу, не понимаю и никогда не пойму, как не видал и не понимал за собой Иов крупных грехов, больших духовных ошибок. Вся моя жизнь от 21

года и до сих пор была посвящена самому искреннему, самому рыцарскому служению мысли и искусству. Талант высшего размера во мне признавали и признают почти все те, которые могут быть судьями...

Передо мною теперь целая пачка писем от разных известных лиц, которые свидетельствуют это: от Тургенева, Дудышкина, Страхова, П.М. Леонтьева, Краевского. -- Нет... нет... И у а *quelque chose!* И у а *quelque chose!*" Я прошу простить мне, что я так отвлекся... Мне очень больно и очень приятно об этом всем писать... И кто меня любит, тот мне все это, я знаю, простит... В прошлый раз, когда я писал эти записки, я так был грустен, растроган и взволнован, что не мог удержать потока своих мыслей, написал вовсе не о том, о чем хотел писать. Записки эти могут иметь значение только для того, кто интересуется хоть сколько-нибудь мною лично. А тот, кто мне лично сочувствует, тот, конечно, простит мне это невольное отступление. Я и сегодня не могу быть вполне спокоен, и сегодня я не владею моими мыслями, как бывает обыкновенно, а мысли и чувства мои управляют мною. В

маленьком флигеле моем меня со всех сторон окружают такие предметы, по которым я даже если бы и не хотел этого, то вынужден был бы ежеминутно читать свою печальную автобиографию. Я говорю "печальную" не потому, что в прошедшей жизни моей не было бы вообще веселости и наслаждений, -нет, а потому, что я теперь от всего этого должен отказаться и по обету (даже и тогда, когда не ношу иноческой одежды), и по необходимости материальной... Здоровья нет, денег нет, но есть долги... А главное, главное... как говорит Гете:

Если ты потерял состоянье -- Ты ровно еще ничего не утратил. Честь потерял?., приобрети славу -- И все забудется... Но если ты утратил бодрость духа Muth, веру в себя, в свою звезду,.. Ты все утратил...

Я пишу это на память и не помню даже, откуда это из Гете, из какого стихотворения.

В прошлый раз я хотел сказать, что в небольшой статье моей "О Складчине" я намеревался кратко изложить мой общий взгляд на всю современную русскую литературу, со времен Гоголя, и еще, что у меня критический вкус давным-давно опередил твор-

чество... Давным-давно мне уже перестала нравиться сухая объективность всех наших писателей, их ложный, отрицательный взгляд на жизнь, их противные реалистические подробности. Самый язык их (я говорю теперь не о каком-нибудь Авсеенке и Ключникове, не о топорных произведениях Лескова или Всеволода Крестовского), я говорю о лучших художниках наших -- о Льве Толстом, о Тургеневе, о Писемском; самый язык этих лучших писателей наших так часто возмущал меня, что я давно искал случая сказать об этом свое мнение. Я не раз говорил, что если французы любят чересчур поднимать жизнь (как в сороковых годах говорили, на каблуки и ходули), то наши уж слишком любят всячески принижать ее. Сама жизнь лучше, чем наша литература. Все у наших писателей более или менее грубо; комизм, отношения к лицам; даже "Война и мир", произведение, которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, испорчено множеством во все не нужных грубостей.

И в "Анне Карениной", в которой автор видимо сознательно старался более, чем в преж-

них своих произведениях, об изяществе -- и в выборе лиц, и в самой форме попадаются, однако, эти вовсе ненужные и противные выходы, от которых никто из наших писателей со времен Гоголя избавиться вполне не мог. Я предлагаю вспомнить о том, как цирюльник бреет Облонского; как раздался носовой свист (как это пошло, гадко и, главное, не нужно) мужа Карениной... как граф Вронский надвигал фуражку на свою рано оплешивевшую голову, и как он поливал водой свою здоровую, красную шею. Но в "Анне Карениной" эти выходы все наперечет; их можно простить за дивную художественность и поэзию всего остального. Но чтобы вполне понять, о чем я говорю, стоит только перечесть эти прославленные "Записки Охотника" и для контраста отрывки из писателей, не испорченных Гоголем. Хотя бы "Капитанская дочка" Пушкина, или иностранцев: "Вертера", "Мапоп Lescaut", "Рене" Шатобриана или прозаический перевод "Чайльд-Гарольда" Амедея Richot. Или, наконец, нечто более близкое -- первые очерки и повести Марка Вовчка. Марко Вовчок -- женщина, и она как-то сумела избавиться от

общего топорного пошиба нашей мужской литературы. Талант ее был не богат и ее слишком скоро испортили нигилисты, внушившие ей направление; но первые маленькие произведения ее верх совершенства. Во все не похожа на нее другая писательница -- Кохановская, но у них одно то общее, что они более всех мужчин наших избавились от гоголевщины. У Кохановской содержание в высшей степени положительное и выражение пылкое, патетическое, восторженное (у Гоголя есть это в "Риме" и в "Тарасе Бульбе"). У М. Вовчка содержание более протестующее, отрицательное, но выражение в высшей степени мягкое, изящное, какое-то бледно-шелковое... душистое... Я писал о ней статью еще в "Отечественных Записках" 1861-го года и прилагаю здесь эту статью. Так давно уже сформировался мой вкус, так давно уже претит мне раздавивший нас всех мелочной реализм и ложь отрицания, которые даже и у тех писателей, которые скорее хотят быть положительными, чем отрицательными, находят, однако, себе исход хоть в языке, в некоторых пошлых оборотах речи, в постоянных претен-

зиях на юмор и комизм, в грубой обременительности некоторых описаний, просто навороченных, а не написанных (см. описание лошади в "Анне Карениной", "Бежин луг" в "Записках Охотника"). Вкус мой сформировался, я говорю, давно, но как творец я никак не мог долго даже и приблизиться к тому идеалу, которого жаждал. Ему удовлетворяют до известной степени только мои "Восточные повести". "Хризо" я недавно, для исправления опечаток, перечел три раза и ничем не возмутился, ничто мне не напомнило в этой повести современную русскую пошлость. Тогда как, перечитывая "Подлипки" (напечатанные мною в 61-м году в одно время с разбором М. Вовчка) и роман "В своем краю", я на каждой странице, краснея, встречаюсь с теми самыми чертами, которые мне так претят у других писателей. "Хризо" написана в 1867-м году; шесть лет жизни и чужбина были нужны для перехода критического сознания к способности самому осуществить хоть приблизительно то, чего бы хотел требовать от себя и других. "La critique est aisee, l'art est difficile"[24]. Около того времени, когда я успокоился

немного, занявшись статьей "О Складчине", я получил очень грубое письмо от брата своего Александра Николаевича, в котором он требовал от меня сейчас же 200 руб. сер., а в противном случае грозился ехать в Петербург и отыскать там кредиторов покойного нашего брата Владимира и взять у них доверенность на преследование за эти долги дочери его Марьи Владимировны, которая по завещанию матери моей и после смерти отца своего вступила во владение пополам со мной Кудиновым.

Письмо было наполнено дерзостями и упреками. В упреках этих была и ложь, была отчасти и правда. Брат мой (говорю это перед Богом! спокойно, без раздражения!) просто дурак и подлец; но и разбойник имеет своего рода органическое право ненавидеть судью, который его казнит. А я присвоил себе в прежнее время право всячески карать и казнить его.

Я бы хотел не отвлекаться от главного предмета моего, от истории моих последних литературных неудач в Москве, но о моих отношениях к этому брату необходимо сказать

несколько слов, для того чтобы яснее было, с каким множеством препятствий и горестей я должен был разом бороться и вместе с тем (похваюсь!), как я все их мгновенно забывал, как только мог отдаться хоть по утрам вполне труду отвлеченной мысли или свободной мечте. Давно я уже выучился не давать обстоятельствам вполне подавлять свой ум и воображение, и даже в 71-м году, когда я зимой в отчаянии ехал из Солоник умирать на Афон, я на станциях обдумывал впервые отчетливо свою гипотезу триединого процесса и вторичного упрощения. Остановившись в Зографе, я две недели не выходил из комнаты и писал об этом день и ночь... даже полулежа в постели и чередуя только это занятие с самой горькой, самой искренней и чуть не отходной молитвой, по монашескому указанию и по книжкам... Я по очереди раскрывал то Прудона, то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола Павла и Лествичника для себя, для души, для того чтобы повиноваться им, чтобы любить их, чтобы подражать им; тех двух буржуа для ума, для сочинения, которое я считал уже посмертным,

чтобы ненавидеть их, чтобы бороться с их влиянием, чтобы уклоняться от них насколько возможно, насколько меня допустит философское убеждение. На Афоне внутреннее состояние мое было ужасно; оно было гораздо хуже московского; я не хотел умирать и не верил, что буду еще жить, я думал, что меня все забыли и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти... Я не мирился с нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; и только чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты христианства, на которых человек становится в силах хоть на минуту говорить себе: "чем хуже здесь, тем лучше: так угодно Богу; да будет воля Его..."

Да! внутреннее состояние души моей на Афоне было такое ужасное, какого я еще не испытывал в жизни. Но зато там хоть завтрашний день был обеспечен вещественно; мне не было крайности думать об этом завтрашнем дне иначе, как с духовной точки зрения. Вокруг была поэзия; вся внешняя об-

становка жизни и весь внутренний строй ее: природа, обычаи, язык, уставы, взгляды, идеалы, одежды и постройки, самое отсутствие правильных дорог -- все было не европейское, все переносило меня в мир восточный, византийский; почти никогда и ничто не напоминало мне там этой буржуазной, прозаической, хамской, подлой Европы (я говорю не про Европу Байрона и Гете, не Людовика XIV-го и хотя бы Наполеона 1-го, а про Европу последнюю, нынешнюю, Европу железных дорог, банков, представительных камер, одним словом, каррикатурную Европу прогрессивно-самообольщания и прозаических мечтаний о всеобщем благе).

Вот что было хорошо на Афоне. Было на чем отвести душу и зрение; это почти то же, что и персидские ковры Губастова; только в огромных размерах. Россия и Москва после долгого отсутствия, напротив того, бросились мне в глаза, прежде всего, теми своими сторонами, которые для меня так тошны и гнусны, зазнавшимися мужиками, которые от прежнего характера своего сохранили только лужавство и пьянство, но утратили ту черту

смирения и покорности, которая их так красила и смягчала; раззоренными или опустелыми усадьбами, теми усадьбами, из которых вышли Пушкин, Жуковский, Лермонтов и Фет, в которых и прасол Кольцов находил себе оценку и приязнь; железными этими путями, от которых все только дорожает до нестерпимости и на которых видишь перед собой все какие-то самодовольные плоские фигуры... адвокатами, новыми судьями-демагогами, процессом несчастной Митрофании, которой злоупотребления (сознаюсь, ничуть не краснея) гораздо меньше возмущают меня, чем одна либеральная речь Брайта или этого прохвоста Вирхова, который так испугался, когда Бисмарк вызвал его на дуэль... Москва и Россия являлись мне пыльной и тесной редакцией Каткова, полной каких-то невыносимо бесцветных и некрасивых деятелей... и дерзкими коридорными лакеями, которые (как я узнал от моего Георгия) удивлялись и смеялись тому, что я ем постное по средам и пятницам; уже до того и они просветились за это десятилетие благодетельного прогресса!

(Пусть прогрессист Хитров спросит себя по

совести, молча, пусть не говорит ни слова, ибо правды в этих случаях он не скажет:-- "не хорошо ли было бы патриархально их выдрать на конюшне, снявши с них европейский фрак?") Итак, зрелище в России и Москве было хуже, чем на Афоне... Но здоровье было лучше, состояние духа в одно и то же время и бодрее, смелее перед людьми и обстоятельствами, и смиреннее, готовее на все перед Богом. И вот тут видна, как и везде, правда Божия; Он прежде поучил на Афоне, потом развеселил и подкрепил в посольстве и Халках и тогда только отправил меня в скверную русско-европейскую обстановку для борьбы с препятствиями и даже врагами, которых я и не подозревал у себя и которые, однако, оказались. Борьбу уже вовсе свыше наших сил видно Господь не посылает...

И я писал с наслаждением в серо-европейской России и среди внешних невзгод точно так же, как писал с наслаждением среди Афонской поэзии с ужасными язвами в сердце, источающими предсмертный ужас!..

Итак, мой брат Александр. Когда в 1869 году я был в Петербурге, мать моя, которая чув-

ствовала себя уже очень слабой, спросила меня: "что я думаю о Кудинове". Здесь я, как на исповеди, говорю все по совести и ничего не хочу утаивать, кроме обстоятельств к делу во-все не относящихся. Я очень был рад наказать его пороки и его глупость и сказал матери: "Напишите все на имя племянницы моей Маши!" Я тогда находил, что поступаю очень умно и справедливо, действуя на ослабевшую мать в этом смысле. Я тогда был очень доволен службою своею и начальством, здоровьем, писал; Катков с первого слова, когда я приезжал к нему на двое суток в Москву, дал мне 800 рублей вперед. Я не скрою, и наружностью своею я тогда был доволен... Восток обожал еще больше, чем теперь (ибо теперь я так тоскую, что не знаю -- под силу ли мне было бы жить опять в турецкой провинции без своего общества и друзей)... Тогда мне и в голову не приходило, что я могу скоро выйти в отставку. Стремоухов говорил мне, что князь очень доволен мною; Игнатьев чрезвычайно аккуратно и любезно отвечал мне на все мои письма; Новиков, которого я видел в Петербурге, говорил мне: "Нехорошо Вам долго

оставаться по разным этим Янинам, Вам надо поприще пошире и виднее".

Сама бедная мать моя, как ей ни больно было быть в разлуке со мной и с женой моей, которую она любила больше всех невесток своих, -- радовалась на мои успехи по службе, и даже литература моя, которую она не любила и которой боялась верным материнским чувством, перестала смущать ее; сочинениям моим из русской жизни она ничуть не сочувствовала; "Хризо" ей понравилось и восточные повести мои она с тех пор читала с тем искренним и вместе равнодушным удовольствием, с которым мы все читаем хорошие произведения чужих нам людей, именно с тем чувством, которое ищет автор в читателе... Я был тогда самоуверен и доволен собой. Я верил в свой разум, в свой поэтический дар и в свои практические способности. И я был прав, сравнительно с другими людьми, взявши в расчет мои обстоятельства, которые были вовсе неблагоприятны сначала и из которых я так ловко тогда вышел. Я не был прав перед Богом, перед церковью, и только... Меня только Иеронимы могут судить по церковно-

му кодексу; а практических ошибок не было тогда ни одной... И если я смирился, то это никак не потому, что я в свой собственный разум стал меньше верить, а вообще в человеческий разум. Я нахожу теперь, что самый глубокий блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше. Ум есть только факт, как цветок на траве, как запах хороший... Я не нахожу, чтоб другие были способнее или умнее меня, я нахожу, что Богу угодно было убить меня; я не считаю Бисмарка во всем выше и годнее Наполеона 111-го; я думаю только, что первому пришел черед по воле Божией, и больше ничего.. А почему другие в лучшем положении, чем я?.. Это воля Господня... Или какие-нибудь их тайные заслуги, опять-таки перед Богом, а вовсе не умение устроиться, как говорят... Да и что такое устроиться? Я могу, например, завидовать славе Игнатьева (богатству как-то не завидую), но желал ли бы я быть не Леонтьевым, чтобы купить эту славу? Желал ли бы я приобрести ее только одной политической деятельностью и не написать ничего? Конечно нет! Избави Боже!.. Не потому, чтобы я государственную деятель-

ность презирал... Напротив, я ее чту высоко и своей ограниченной консульской деятельностью очень горжусь; не оттого, чтобы я литературу считал выше государственного дела; вовсе нет; но оттого, что именно я, без литературного вдохновения и без литературной славы считаю мою, именно мою, жизнь ошибкой... Где бы она ни текла, при дворе или в деревне, в Царьграде или в Янине, в монастыре или на балах... Я оттого бы не согласился бы купить ценою отречения от моих сочинений, даже столь несовершенных, столь несообразных с моим идеалом, славу и положение самого Игнатьева, оттого, что для меня долго не писать, долго не печатать, долго не слышать ничего о моих сочинениях есть такое страдание, такое лютое мучение, что я смолоду даже и вообразить себе его не мог и не умел... Это вторая природа... и все остальное в моей жизни было только или необходимостью, или средством для искусства, а не целью само по себе...

Есть нечто бесконечно сильнейшее нашей воли и нашего ума, и это нечто сокрушило мою жизнь, а не мои ошибки...

Я каюсь в грехах моих, в моих проступках противу церкви ежедневно и горько; я с радостью падаю в прах перед учением церкви, даже и тогда, когда оно мне кажется не особенно разумным (*Credo quia absurdum*); но я не каюсь в житейских ошибках моих и не признаю ни одной такой, которая должна бы неизбежно вести за собой неудачу... таких и не бывает ни у кого...

Мне скажут, что под этим церковным смирением моим скрыта непомерная житейская гордость, такая сатанинская гордость, которую трудно было бы и ожидать от того товарищеского добродушия, уживчивости и мягкости характера, за которые меня многие любят... А я скажу: да! в этих записках она даже и не скрыта -- эта гордость, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками. Пусть любит меня и с этой самоуверенностью! Тем более что я все-таки прав, и тот, кто знает мою прежнюю жизнь, должен согласиться со мной, если не во всем, то во многом. Вот Губастов и соглашается, потому что он больше всех других меня знает. Итак, в 1869-м году в Петербурге, когда мать моя заговорила

со мной о своей духовной, я посоветовал ей отстранить совершенно и Александра Ник., и меня самого и отдать все Кудиново сполна Маше, дочери другого моего брата Владимира (той самой племяннице, которая гащивала у меня в Турции). Я был доволен собой и самоуверен, не без прав на то и не без основания. Исполненный греха и мерзости перед Богом, перед человеческим обществом, я был хороший, способный и даже по-своему искусный в ведении дел человек. Я верил в свой ум и в свое здраво и возвышенно хорошее сердце.

Брата же этого Александра я считал чем-то презренным, забытым, далеким таким предметом, о котором серьезно и говорить не стоит ни с кем, разве только с одной матерью; ибо она, к несчастью, и ему столько же мать, сколько и мне... С одной стороны, я, пожалуй, был и прав. Ни на ком в жизни так, как на этом брате Александре, я не видал до чего хорошая, добрая, симпатичная натура может стать гадким, низким и жалким характером при вредных влияниях и дурном направлении.

Он был рожден с наилучшей из всех нас

душой. Нас было семеро детей у матери, и он смолоду был общий любимец. Мать, я думаю, до последнего часа не знала, кого из двух нас она больше любит: меня или Александра. Младшая сестра, которая воспитывалась дома, любила его несравненно больше всех других братьев; кузина молодая, которая жила в доме лет 20--25 тому назад, боготворила его; приказчик-старик и жена его, наша няня, тоже обожали его. И у меня он тогда был фаворитом из всех моих братьев. Я с детства любил красоту, а он был красивее всех братьев; он был добрее всех; его взгляд был ласков; глаза красивы; манеры ловки; рост и сложение прекрасны. Он был со слугами тогда добр и приветлив. Лицо у него было одно из тех милых полутатарских лиц, которых у нас так много между дворянами, но только прекрасное в своем роде. Матери он тогда был покорен, сильно любил. Он не кончил курса в кадетском корпусе, был исключен за участие в одной шалости и служил бедным офицером в армейском пехотном полку. Однажды (мне тогда было лет 10) он заболел тифозной горячкой во Владимирской губернии, и мать с от-

чаянием узнала об этом из письма другого офицера, его друга, который из сожаления к нему и к матери (верно этот, тогда еще столь любящий сын часто о ней говорил) известил мать о его болезни. Не помню, почему мать не могла тогда сама к нему ехать; но она была в отчаянии и тотчас же послала за ним в полк своих лошадей со старухой нянькой, которая была очень умна, распорядительна, сама его, как я уже сказал, чрезвычайно сильно любила, больше всех нас. Полковой командир отпустил брата в долгий отпуск, так как няня привезла ему письмо от матери; и он приехал весной с обритой головой и еще слабый, но вне опасности. Он не хотел подъезжать с шумом к дому и пошел по аллее, через сад... "боюсь, чтобы маменька не гневалась..." сказал он сестре, которая случайно встретила его в этой аллее... Он до того уважал тогда мать, что считал себя неправым против нее уже тем, что осмелился заболеть так опасно и может быть по какой-нибудь собственной неосторожности причинил ей столько горя и беспокойства и боялся "не будет ли она гневаться..." Но тут было не до гнева... Все, начи-

ная с матери, увидавши его в живых, были без ума от радости: сестра, тетка, люди, я сам.. Он прогостил у нас долго... Я помню, как он, уезжая, прощался... Все мы были в нашей длинной белой зале; это было зимой (лет 35 тому назад!!!); тройка стояла у крыльца; люди носили вещи... грозная и благородная наша мать ходила задумчиво по зале в бархатной мантилье; у стола плакала горбатая те-тушка, сестра отца, которая всех нас нянчила и учила азбуке (только азбуке, бедная... рцы, твердо, глаголь... и с указкой... Боже! Боже! где это все?..). Брат в бедной, ваточной офицерской шинели с крашеным собачьим воротником стоял у притолки прихожей, утирая платком слезы; эти юношеские, чистые слезы ка-тились ручьями по его молодому, смуглому, красивому лицу, на котором чуть-чуть только пробивались черные усики...

Я помню, что садясь в кибитку, он велел мчаться во всю прыть, "чтобы уехать скорее от того места, где было так приятно и весело". Так он сказал. Какие же были эти удивительные веселости, которых память причиняла ему такую боль и вызывала у него слезы? Они

были самые невинные и простые. Семья, мать, мы все - вот что было ему так до боли приятно... родная деревня, в которой он играл и рос, в которой он любил всех и где все его любили, это самое Кудиново, из которого я, именно я, а никто другой, изгнал его теперь и к которому он до сих пор привязан, видимо, сердцем... Жить месяцы и годы с полковыми товарищами, как бы они ласковы с ним ни были; в крестьянских избах, на ничтожном нищенском содержании армейского прапорщика; считать за счастье, если есть ваточная шинель с собачьим воротником; нуждаться в жуковом табаке и чае... знать, что любящая, но строгая и справедливая мать негодует на своего любимца за то, что вместо выгодной и почетной инженерной службы он из-за пустой шалости, из вздорного кадетского молодчества должен был выйти в пехотный полк, есть пустые щи и черный хлеб... утомляться на учениях, вставая до света... Потом заболеть без родственного женского присмотра, быть на краю гроба, страдать жаждой и, пожалуй, голодом на каком попало солдатском ложе... Я сам все это испытал во время

военной службы моей в Крыму и понимаю, каким праздником должно было казаться бедному молодому офицеру возвращение на-долго в материнский дом, просторный, убранный со вкусом, опрятный донельзя, теплый, веселый; я понимаю, как весело было ему спать хорошо и долго, есть вкусно и обильно, не думая о завтрашнем дне; вместо гнева суровой матери увидеть ее радость... видеть любовь сестры, меньшого брата, тетки, няни...

Я говорю, что сам испытал все это... Но я готов верить, что чувства брата в то время были гораздо глубже и непосредственнее моих... Я в Крым поехал уже ученым и до болезненности размышляющим юношей; я был тогда "Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура". Я в Москве имел уже сам связи с людьми известными, влиятельными, богатыми, с учеными, с литераторами... Я по охоте бросил все это, оставил не комнату, а хорошие комнаты в доме богатых родных Охотниковых, общество молодых девушек, которые говорили по-английски, грассировали и танцевали на лучших московских вечерах. Я бросил все это именно для того, чтобы кинуться

головой вниз в жизнь более грубую, более страшную, более тяжкую для тела, но более здоровую и легкую для души и ума... Игра моего воображения внушала мне, что стыдно мне, поэту, когда другие воюют и лечат воюющих, просто жить все таким вялым рекин, студентом, который садит с книжками... Что надо немножко зверства в жизни порядочного человека.. Какая-нибудь слишком честная профессура меня вовсе не пленяла... Я хотел на казацкую лошадь, хотел видеть раненых, убитых людей, сам, может быть, согласился бы быть почти убитым (я говорю -- почти, чтобы больше уважать себя после и чтобы иметь право больше нравиться кому следует)... Я сам искал походных тягостей, и когда мне было уже очень трудно (физически, только физически), я тотчас же вспоминал мои московские внутренние язвы, мой несносный и самопожирающий студенческий анализ и благословлял и дождь, который поливал меня в Крыму, и жар, который томил, и сотни мышей, которые съели у меня шинель, и степных жаб, которые ходили по мне, когда я спал в лагере на траве... И лазаретные ужасы, и

укрепляющие душу встречи с чужими смелыми людьми, споры, столкновения и ссоры нередко и опасные, как всегда бывает, где много вместе молодых и самолюбивых мужчин. Слишком тяжелый рефлекс сидячей жизни изгнал меня из Москвы; и его же остатки ободряли и восторгали меня в Крыму, среди внешних житейских невзгод. Я думаю, у брата все чувства при возврате на родину были тогда гораздо глубже и чище моих... Он был бедным офицером просто потому, что не мог быть ничем иным; он не искал сам, подобно мне, освежения и здоровья в грубой и тяжелой жизни в глуши, ибо был и без того здоров и свеж и телом, и душою. Он жил без рефлекса и тогда, когда был таким милым, теплым офицерчиком, когда был, что называется "душа", и тогда, когда лет 10--15 позднее стал элегантным самоуверенным фатом полудурного тона в Москве и Калуге, ярмарочным и трактирным львом, обольстителем, игроком и щеголем, плохим родным и сыном почти преступным... Он живет без рефлекса и теперь, когда он стал седым и гадким стариком, с какими-то рубцами сыпей на лице, с

какими-то ранами на теле, всегда без места, без денег, иногда полупьяный, всюду презираемый порядочными людьми, но все также самоуверенным нераскаянным, как и прежде... И то, что было милой простотой и непосредственностью в прежнем добром Саше, стало гадкой и подлой глупостью в изношенном и необразованном холостяке.

[1] Публикуется по изданию Константин Леонтьев "Поздняя осень России", М., 2000 * Заголовок приведен по двум изданиям этого сочинения К.Н. Леонтьева, но в тексте рассказ о пребывании философа в стенах Николо-Угрешского монастыря изначально опущен (примеч. сост.).

[2] Слуга, собака, честный труженик [неподписанные подстрочные примечания здесь и дальше принадлежат самому К.Н. Леонтьеву или представляют собой перевод с иностранного языка].

[3] Проездом через Москву в свою деревню я видел его раза три и получил от него 700 рублей

[4] Я удивляюсь, дорогой, как это вы, человек с воображением, как это вы смогли стать

очень умеренным и практичным консулом... И ваши политические писания тоже в избытке позитивны... Видите ли, я человек практичный .. (фр.). [5] Это вполне просто. Это следствие того, что я весьма одарен и обладаю обилием разнообразных ресурсов (фр.).

[6] и тогда искал личного знакомства с литераторами еще меньше, чем теперь. [7] Эту любезность Катков сказал мне еще летом. Он в этот день был нездоров, принимал лекарство и, вдобавок, кажется, рассердился на меня за похвалы Герцену. Я сказал: "Надо благодарить Герцена уже за то, что он перестал верить в прогресс и смеялся над ортодоксией революции".

[8] Делает хорошую и худую погоду (фр..). [9] Изысканный (фр.).

[10] Отеческое отношение (фр.). [11] Помни о смерти (лат.).

[12] Полезности (фр.). [13] Я и ему не возражал на это и здесь не стану долго объяснять. Бог и духовники мои пусть судят, кто из нас лично более христианин: я или Ив. Сергеевич. Я знаю только то, что я не позволю себе вносить ничего своего в церковное учение и

готов подчиняться всему, что велит духовенство, призванное по слову самого Христа вязать и разрешать нас.

До нравственных качеств моих начальников мне почти и дела нет, когда я ищу духовного совета или подчиняюсь их распоряжениям, а Аксаков говорит, что для него Филарет не был авторитетом, что Герцен и Егмбетта для него более христиане, чем, напр., нынешний московский епископ Леонид. Хорошо православие! Прибавлю еще, что если бы я видел в наше время человека мало-мальски религиозного и нуждающегося, каков был я перед очами Аксакова в Москве, так я, если бы рубашку с себя не снял бы для него, то уж конечно с жаром помог бы ему. Я это доказывал при всей нужде своей не раз. А Ив. Сер. что-то и слова не промолвил о какой-нибудь материальной мне помощи Он мог бы устроить для меня многое. Впрочем это судить трудно, а может быть я и грешу. Да простит мне Бог, если я ошибся. В статье же моей, понятно, что я нарочно отстраняю мое личное православие и хочу стать на такую точку, став на которую всякий бы мыслящий буд-

дист, китаец, турок и атеист понял бы, что такое православие для России, славян и Европы. [14] Чем же это отличается от западной буржуазности! [15] Я писал это по поводу того, что нынешняя всесветная, нескладная, неинтересная, иеромантическая *goture* тоже хочет не только существовать скромно, как существовали ее суровые и честные праотцы, а наслаждается жизнью и даже развратничает во все не к роже; я так и говорил дальше; "ибо, что еще пристало Алкивиаду, Montmorency или Потемкину Таврическому, то вовсе нейдет какому-нибудь Шуль-цу, Чэтенскому, Dubois, Labrossee, Lagacaille и т. д." Чем же я виноват, что это правда, чем виноват, что это такая же научная истина, такой же эстетический факт, как и то, что жасмин и роза пахнут лучше смазных сапог или шпанских мух! Ученый, который заявил бы как факт, что олень и лев красивее, прекраснее свиньи и вола, не возмутил бы никого; отчего же тот писатель возмутителен, который позволяет себе сказать, что Вронский в "Анне Карениной" несравненно изящнее и, говоря языком Гомера, боговиднее того профессора, который

спорит с братом Левина?.. Не понимаю. А сколько есть ученых и не очень ученых буржуа, чиновников, адвокатов и т. д., которые даже и не так уж худощавы и не так тупо научны, как этот философ Льва Толстого... и которые поэтому еще бесцветнее, еще непоразительнее его... Беда мне с этим культом простых и честных людей, который у нас так завелся! Моя языческая поговорка настолько же не противоречит всеобщему христианству, насколько общие физиологические свойства животных, их дыхание, движения и т. д. не противоречат их сравнительной эстетике. Христианство не отвергает как факты ни аристократичности, ни телесной красоты, ни изящества, оно игнорирует их, знать их не хочет... И потому христианин, оставаясь христианином вполне, может рассуждать и мыслить вне христианства за его философскими пределами о сравнительной красоте явлений точно так же, как может он мыслить о сравнительном законоведении или ботанике... Я скажу больше: есть множество людей до того не изящных, до того прозаических, некрасивых, неумных, пошлых, тошных, каких-то ни

то ни се, что они мыслящего христианина располагают скорее к богомыслию, чем удаляют от него; невольно думаешь: "лишь бессмертный дух, который таится в этой жалкой, бедной, кислой, *mauvais-genre* оболочке, лишь только закон его загробного существования, лишь его незримые отношения к незримому божеству могут дать разгадку этим столь многочисленным и, к несчастью, столь реальным явлениям, как, напр., мадам Белоцерковец, Максимов и т. д. Я не шучу ни сколько. Именно потому-то и говорится, что перед Богом все равны, что здесь-то на земле разница между Байроном и Амиаблем, между Бисмарком и Гумбухианом еще слишком велика, вопреки всем стараниям благодетельного прогресса, пытающегося уже давно принести в жертву всех Байронов и Бисмарков Гумбухианам и АгшаБ'ям, всех этих *tenore diforza* и *tenore di grazia* aux homines utiles et laboriaux (Певцов силы и ярацш -- людям полезным и трудолюбивым)...чтобы не сказать хуже... А что перед Богом Гумбухиан меньше ответит, чем Бисмарк, это очень возможно и утешительно... Неужели Аксаков этого не по-

нимает? [16] Что подобает Юпитеру, не подобает быку! (лат.) [17] Я ужасно виноват перед Нелидовыми, что до сих пор не благодарил их за рекомендательное их письмо Неклюдовым. Каждый день я об этом думаю! [18] Поедем на остров Киферу (фр.). [19] Всего лишь один круг по Пафосу (фр.). [20] Там роза дышит... Это край любви... (фр.). [21] Не по натуре своей, а по судьбе; и еще потому, что он ужасно выигрывает от сравнения с либералами.

[22] У которого я прожил два года (58--59) в нижегородском имении почти так, как жил Милькеев у Новосильских в моем романе "В своем краю". [23] "Нет мой дорогой Константин Николаевич, верьте мне, тут что-то есть*" (фр.). [24] Критиковать легко, творить трудно (фр.).